





Белла  
**АХМАДУЛИНА**



**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ**  
СОЧИНЕНИЙ  
**В ОДНОМ ТОМЕ**



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА  
Москва  
2012

УДК 821.161.1  
ББК 84.(2Рос=Рус)6-5  
А95

Серия основана в 2007 году

Составители  
*Борис Мессерер и Татьяна Алешка*

**Ахмадулина Б. А.**  
А95 Полное собрание сочинений в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012. — 856 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-1077-4

В одном томе собрано все поэтическое и прозаическое наследие одной из самых талантливых, проникновенных и лирических русских поэтесс — Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937 — 2010).

УДК 821.161.1  
ББК 84.(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-1077-4

© Б. Ахмадулина. Наследники. 2012  
© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012

---

## **СТИХОТВОРЕНИЯ**

---

1954—1979

### НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смущаюсь и робею пред листом  
бумаги чистой.  
Так сто́ит паломник  
у входа в храм.  
Пред девичьим лицом  
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь  
я озираю алчно и любовно,  
чтобы потом пером ее терзать,  
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок  
недолог. Перевернута страница.  
Бумаге белой нанеся урон,  
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,  
я безрассудно и навечно кану,  
одна среди сияющих листов  
неся свою ликующую кару.

1954

\* \* \*

Дождь в лицо и ключицы,  
и над мачтами гром.  
Ты со мной приключился,  
словно шторм с кораблем.

То ли будет, другое...  
Я и знать не хочу —  
разобьюсь ли о горе,  
или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,  
как тому кораблю...  
Не жалею, что встретила.  
Не боюсь, что люблю.

1955

## ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.  
Их охраняли потолки.  
Их корни сытые жирели,  
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий  
и множество других солей,  
чтоб глаз анютин желто-карий  
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.  
Им дали света и земли  
не потому, что их жалели  
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,  
но мне — мне страшно их судьбы,  
ведь никогда им так не пахнуть,  
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,  
им не раскачивать шмеля,  
им никогда не догадаться,  
что значит мокрая земля.

*1956*

## НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,  
красивой, завитой,  
под белою навесной  
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки  
в колечках ледяных,  
чтобы сходились рюмки  
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,  
пророчил сыновей,  
чтобы друзья с подарками  
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,  
тарелки, кружева...  
Чтоб в щёку целовали,  
пока я не жена.

Платье мое белое  
заплакано вином,  
счастливая и бедная  
сажу я за столом.

Страшно и заманчиво  
то, что впереди.  
Плачет моя мамочка, —  
мама, погоди.

...Наряд мой боярский  
скинут на кровать.  
Мне хорошо бояться  
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся  
рядом, за стеной...  
Что-то дальше станется  
с тобою и со мной?..

1956

\* \* \*

Мне скакать, мне в степи озираться,  
разорять караваны во мгле.  
Незапамятный дух азиатства  
до сих пор колобродит во мне.

Мне доступны иные мученья.  
Мой шатер одинок, нелюдим.  
Надо мною восходят мечети  
полумесяцем белым, кривым.

Я смеюсь, и никто мне не пара,  
но с заката вчерашнего дня  
я люблю узколищего парня  
и его дорогого коня.

Мы в костре угольки шуровали,  
и протяжно он пел над рекой,  
задевая мои шаровары  
дерзновенной и сладкой рукой.

Скоро этого парня заброшу,  
закричу: «До свиданья, Ахат!»  
Полюблю я султана за брошку,  
за таинственный камень агат.



Нет, не зря мои щёки горели,  
нет, не зря загнала я коня —  
сорок жён изведутся в гареме,  
не заденут и пальцем меня.

И опять я лечу неотрывно  
по степи, по ее ширине...  
Надо мною колдует надрывно  
и трясет бородой шурале...

1956

## ПАВЛУ АНТОКОЛЬСКОМУ

### I

Официант в поношенном крахмале  
опасливо глядит издалека,  
а за столом — цветут цветы в кармане  
и молодость снедает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.  
Он, палкою по воздуху стуча,  
летит мимо испуганных прохожих,  
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,  
дай помахать и хлебом не корми!  
Гасконский, что ли, это темперамент  
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счёту  
тот, кто — один. На белом свете он —  
один всего лишь. Но заглянем в щёлку.  
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьёт старик бедовый,  
потрескивая на манер огня.  
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.  
Он — мускулы под кожей коня.

Всё — чепуха. Сидит старик усталый.  
Движение есть расточенье сил.  
Он скорбный взгляд в далекое уставил.  
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,  
неисполненье давешних надежд.

А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,  
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:  
как вы бодры... вам сорока не дашь...  
Молчали бы, летая по ступеням!  
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!  
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!  
Оно гудит под пологом кровати,  
закруживая, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,  
ах, всё, что есть, оставит позади.  
Не иссякай, бессмертный Казанова!  
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.  
В чужом доме плачь домовым в трубе.  
Пусть женщина, капризница, мотовка,  
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!  
Нет, отпусти! На тройке прокати!  
Всё впереди, чему должно случиться!  
Оно еще случится. Погоди.

1956

## II

Двадцать два, значит, года тому  
дню и мне восемнадцатилетней,  
или сколько мне — в этой, уму  
ныне чуждой поре, предпоследней  
перед жизнью, последним, что есть...  
Кахетинского яства нарядность,  
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.  
Я беспечна и ем ненаглядность.  
Это всё происходит в Москве.  
Виноград — подношенье Симона.  
Я настолько моложе, чем все  
остальные, настолько свободна,  
что впервые сидим мы втроем,  
и никто не отторгнут могилой,  
и еще я зову стариком  
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

\* \* \*

Он приготовил пистолет,  
свеча качнулась, продержалась.  
Как тяжело он постарел.  
Как долго это продолжалось.

И вспомнил он издалека —  
там, за пределом постаренья,  
знамена своего полка,  
сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.  
Вчера побрел, побрел далеко  
на первый ледоход смотреть,  
стоял там долго, одиноко.

Потом отправился домой,  
шаги тяжелые замедлил  
и вдруг заметил, Боже мой,  
вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось — давным-давно  
гроза, глубокий след ботинка,  
её плечо обведено  
оборкой белого батиста.

Зачем она среди весны  
о той весне не вспоминала,  
стояла просто у стены,  
такая жалкая стояла.

И вот смертельный этот гром  
раздастся, задевая рюмки,  
и страшно упадут на гроб  
жены его большие руки.

Придёт его бесстыдный друг,  
успевший прочесть в газете.  
Для утешенья этих рук  
он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,  
и взглянет он непринужденно,  
как на подушке ордена  
горят мертво и отчужденно.

<1956>

## ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море паруса плутали,  
и, непричастные жаре,  
медлительно цвели платаны  
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,  
и обнажала высота  
переплетения базальта  
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке  
бела вставала и нема,  
и смутно виноградом пахли  
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,  
который к морю выбегал  
и выплывал, как черный лебедь,  
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,  
бежала по камням к воде,  
и каблучки по ним ломала,  
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,  
вплетаясь утром в водопад,  
и капли сохли, и мелели,  
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,  
собравши всё в одном цветке,  
вitalo имя Ариадны  
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,  
там приникал к воде причал.  
«Цисана!» — из окошка звали,  
«Натэла!» — голос отвечал...

1957

\* \* \*

Смеясь, ликуя и бунтуя,  
в своей безвыходной тоске,  
в Махинджаури, под Батуми,  
она стояла на песке.

Она была такая гордая —  
вообразив себя рекой,  
она входила в море голая  
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,  
так шла и шла наискосок.  
Она расстегивала лифчик,  
чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного  
дразнил и душу бередил.  
Там белое пошло по смуглому,  
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,  
в воде ладонями плеща,  
и перекатывались радуги  
от головы и до плеча.

1957

\* \* \*

Вот звук дождя как будто звук домбры —  
так тренькает, так ударяет в зданья.  
Прохожему на площади Восстанья  
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —  
К его курчавой головёнке никну  
и говорю: — Пусти скорее нитку,  
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,  
мне белая встречается собака,  
и взглядом понимающим собрата  
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,  
по бледности я отличаю скрягу.  
Облюбовав одеколону склянку,  
томится он под вывеской «Тэжэ».

Я говорю: — О, отвлекись скорей  
от жадности своей и от подагры,  
прибери богатые подарки  
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везёт мне, не везёт.  
Меж мальчиков и девочек пригожих  
и взрослых, чем-то на меня похожих,  
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.  
Теней я замечаю удлинение,  
а также замечаю удивление  
прохожих, озирающих меня.

1957

\* \* \*

О, еще с тобой случится  
всё — и молодость твоя.  
Когда спросишь: «Кто стучится?»  
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее  
выслушай и отвори.  
Стихнули и постарели  
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —  
листик с веточки одной.  
Как же ты стареть собрался,  
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим  
я пришла сюда одна.  
Это я — ты не заметил.  
Это я, а не она.

Над примятою постелью,  
в сумраке и тишине,  
я оранжевой пастелью  
рисовала на стене.

Рисовала сад с травой,  
человечка с головой,  
чтобы ты спросил с тревогой:  
«Это кто еще такой?»

Я отвечу тебе строго:  
«Это я, не спорь со мной.  
Это я — смешной и стройный  
человечек с головой».

Поиграем в эту шалость  
и расплачемся над ней.

Позабудем мою жалость,  
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,  
становился молодой,  
чтобы плакал и смеялся  
человечек с головой.

1957

\* \* \*

Не уделяй мне много времени,  
вопросов мне не задавай.  
Глазами добрыми и верными  
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,  
по следу следа моего.  
Я знаю — снова не получится  
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости  
хожу, с тобою не дружу?  
Я не из гордости — из горести  
так прямо голову держу.

1957

### ЖАЛЕЙКА

Я уеду ранним утром  
наставленьям вопреки,  
я проснусь в домишке углом  
возле пасмурной реки.

Залюбуюсь сивым дедом,  
что проходит босиком.  
Ах, откройте, что он сделал  
с тем зелёным тростником.

Он спускается с пригорка,  
бабы смотрят из ворот.  
Так ли тонко, так ли горько  
та тростиночка поёт?

Я стою с тяжёлой лейкой,  
спелых грядок не полью.  
Пожалей меня, жалейка,  
что я песен не пою.

Я болею, я устала,  
оттого и не могу.  
Промычало мимо стадо,  
запестрело на лугу...

Водят кони вострым ухом,  
дождь пузырится у ног,  
и метёт лебяжьим пухом  
тополиный ветерок.

А по тёплым тем сугробам,  
по глубокой той воде  
всё идёт с лицом суровым  
дед с тростинкой в бороде.

<1957>

### СНЕГУРОЧКА

Что так Снегурочку тянуло  
к тому высокому огню?  
Уж лучше б в речке утонула,  
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом  
вспорхнула — ноженьки видны —  
и нет ее. Она подобна  
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась,  
и кончилась ее пора.  
Играть с огнем — вот наша шалость,  
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,  
так нам проходу не дает.  
Ему поддавшись, тело тает  
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим  
и вовлечем его в игру,  
и снова мы собой рискуем  
и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,  
в дыму еще неразличим.  
То ль из него живыми выйдем,  
то ль навсегда сольемся с ним.

1958



## МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,  
как повезло нам в этот час,  
когда бегущая пластинка  
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,  
как уж, изъятый из камней,  
но очертания Шопена  
приобретала всё слышней.

И забирала круче, круче,  
и обещала: быть беде,  
и расходились эти круги,  
как будто круги по воде.

И тоненькая, как мензурка  
внутри с водицей голубой,  
стояла девочка-мазурка,  
покачивая головой.

Как эта, с бедными плечами,  
по-польски личиком бела,  
развела мои печали  
и на себя их приняла?

Она протягивала руки  
и исчезала вдалеке,  
сосредоточив эти звуки  
в иглой исчерченном кружке.

1958

## ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки  
надменной отдаленности своей.  
Лунатики протягивают руки  
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознанья,  
весомостью дневной утомлены,  
летят они, прозрачные созданья,  
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупю,  
взамен не обещая ничего,  
влечет меня далекое искусство  
и требует согласия моего.

Смогу ли побороть его мученья  
и обаянье всех его примет  
и вылепить из лунного свеченья  
тяжелый, осязаемый предмет?..

1958

\* \* \*

Живут на улице Песчаной  
два человека дорогих.  
Я не о них.  
Я о печальной  
неведомой собаке их.

Эта японская порода  
ей так расставила зрачки,  
что даже страшно у порога —  
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая  
и победительно сопя,  
надменным взглядом самурая  
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела  
одна пришла я в этот дом,  
и на диване я сидела,  
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,  
всё различавший в тишине,  
пёс умудренный семилетний  
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.  
Он горестный был и седой,  
как бы поверженный микадо,  
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,  
ты понимаешь всё. Ответь,  
что так мне совестно и тошно  
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,  
угадывает наперед.  
Скажи мне, что нас разлучает  
и всё ж расстаться не дает?

1958

## АВГУСТ

Так щедро август звёзды расточал.  
Он так бездумно приступал к владению,  
и обращались лица ростовчан  
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.  
Так падали мне на плечи созвездья,  
как падают в заброшенном саду  
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,  
соседей наших клавиши сердили,  
к старинному роялю музыкант  
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.  
О, можно было инструмент расстроить,  
но твоего созвучия со мной  
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,  
так недалёко звёзды пролегли,  
бульварами шагали моряки,  
и девушки в косынках пробегали.

Всё то же там паденье звёзд и зной,  
всё так же побережье неизменно.  
Лишь выпали из музыки одной  
две ноты, взятые одновременно.

1958

\* \* \*

По улице моей который год  
звучат шаги — мои друзья уходят.  
Друзей моих медлительный уход  
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,  
нет в их домах ни музыки, ни пенья,  
и лишь, как прежде, девочки Дега  
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх  
вас, беззащитных, среди этой ночи.  
К предательству таинственная страсть,  
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!  
Посверкивая циркулем железным,  
как холодно ты замыкаешь круг,  
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!  
Твой баловень, обласканный тобою,  
утешусь, прислонясь к твоей груди,  
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,  
на том конце замедленного жеста  
найти листву, и поднести к лицу,  
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,  
твоих концертов строгие мотивы,  
и — мудрая — я позабуду тех,  
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,  
свой тайный смысл доверят мне предметы  
Природа, прислонясь к моим плечам,  
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слёз, из темноты,  
из бедного невежества бывшего  
друзей моих прекрасные черты  
появятся и растворятся снова.

1959

\* \* \*

В тот месяц май, в тот месяц мой  
во мне была такая лёгкость  
и, расстилаясь над землей,  
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра  
в счастливом предвкушеньи пенья,  
и с легкомыслием щегла  
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор  
и пронизательней, и строже,  
и каждый вздох и каждый взлет  
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.  
Открыты мне его явления.  
Вокруг оглядываюсь я  
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,  
над черным снегом нависая,  
как скушно женщины глядят,  
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,  
не соблюдая клумб и грядок,  
чужое бегает дитя  
и нарушает их порядок.

1959

### НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,  
вещественных полна примет.  
И нежность обретает внешность  
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой  
вдруг станет на краю стола,  
и ты склонишься удивленный  
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,  
и будут все поражены.  
— Откуда появилась ваза? —  
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату  
спросил? —  
О, не кори жену —  
то просто я смеюсь и плачу  
и в отдалении живу.

И слёзы мои так стеклянны,  
так их паденья тяжелы,  
они звенят, как бы стаканы,  
разбитые среди тишины.

За то, что мне тебя не видно,  
а видно — так на полчаса,  
я безобидно и невинно  
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,  
как в горних высях повелось.  
Ты закричишь: — Мне нет покою!  
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,  
не бойся, «чур» не говори —  
то нежности моей кристаллы  
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно  
наколдовала в стороне,  
и вот образовалось нечто,  
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,  
опять играя в эту власть,  
я сохраню тебя от бедствий  
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!  
Забудется игра моя.  
Но сказки твоим малым детям  
останутся после меня.

1959

## НЕСМЕЯНА

Так и сажу — царевна Несмеяна,  
ем яблоки, и яблоки горчат.  
— Царевна, отвори нам! Нас немало! —  
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми  
и в горницу являются гурьбой,  
здороваются, кланяются, имя  
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,  
проходят, златом-серебром звеня.  
Но вам своим богатством и бахвальством,  
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,  
стараясь ради красного словца!  
Но и сама слышу я не напрасно  
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,  
царевна, ты — в суровости своей? —  
Я говорю: — Царевичи, присядьте.  
Царевичи, по стойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели  
и шапки примеряли к головам?  
На той неделе, о, на той неделе —  
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,  
сам из татар, гулявших по Руси,  
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!  
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат он или беден?  
В какой он проживает стороне? —  
Смеялась я: — Богат он или беден,  
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит  
вины его. Не вышло ни черта.  
И всё же он, гуляка и изменник,  
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

1959

## МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полёт твоих колес,  
о мотороллер розового цвета!  
Слежу за ним, не унимая слёз,  
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку  
с ликующей и гибельной улыбкой,  
кажусь я приникающей к листку,  
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня  
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.  
Две радуги, два неба, два огня,  
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,  
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.  
Вдруг из меня какой-то странный плач  
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,  
и песенки мотив так прост и вечен.  
Но, видишь ли, веселый твой полёт  
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки  
и не опасно головокруженье,  
что по другую сторону доски  
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,  
твой шум летит в лужайках отдаленных.  
Пока моя походка тяжела,  
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! — покуда я стою.  
Так лепечи! — покуда я немею.  
Всю легкость поднебесную твою  
я искупаю тяжестью своею.

*1959*

## АВТОМАТ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ

Вот к будке с газированной водой,  
всех автоматов баловень надменный,  
таинственный ребенок современный  
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,  
монету влажную он опускает в щёлку  
и, нежным брызгам подставляя щёку,  
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг  
и фамильярность с тайною простою!  
Но нет, я этой милости не стою:  
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,  
несет в ладони семь стеклянных граней,  
и отблеск их летит на красный гравий  
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру,  
и поддаюсь с блаженным чувством риска  
соблазну металлического диска,  
и замираю, и стакан беру.



Воспрянув из серебряных оков,  
родится омут сладкий и солёный,  
неведомым дыханьем населенный  
и свежей толчёёю пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,  
пронзают нёбо в сладости короткой,  
и вот уже, разнеженный щекоткой,  
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа  
взирает с доброю старомодной,  
словно крестьянка, что рукой холодной  
даст путнику напиться из ковша.

*1959*

## ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,  
меня встречал и в щёку чмокал.  
Как будто рыба из воды,  
сервиз выглядывал из стёкол.

И пёс выскакивал ко мне,  
как галка, маленький, орущий,  
и в беззащитном всеоружье  
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли  
я шла озябшим делегатом,  
и дом смотрел в глаза мои  
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда  
он не навлёк, себя не выдал.  
Дом клялся мне, что никогда  
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст. —  
Я говорила: — Где-то, где-то... —  
Он говорил: — И пусть. И пусть.  
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва  
платка или иной приметы,  
но дом твердил свои слова,  
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.  
О, как он притворился ловко,  
что здесь не падало слезы,  
не облокачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор  
смыл всё: и туфель отпечатки,  
и тот пустующий прибор,  
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пёс забыл,  
с кем он играл, и гвоздик малый  
не ведал, кто его забил,  
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,  
как будто выпал снег и стоял.  
Припомнить не могли цветы,  
кто их в стакан гранёный ставил...

О дом чужой! О милый дом!  
Прощай! Прошу тебя о малом:  
не будь так добр. Не будь так добр.  
Не утешай меня обманом.

*1959*

\* \* \*

Опять в природе перемена,  
окраска зелени груба,  
и высится высокомерно  
фигура белого гриба.

И этот сад собой являет  
все небеса и все леса,  
и выбор мой благословляет  
лишь три любимые лица.

При свете лампы умирает  
слепое тело мотылька  
и пальцы золотом марает,  
и этим брезгает рука.

Ах, Господи, как в это лето  
покой в душе моей велик.  
Так радуге избыток цвета  
желать иного не велит.

Так завершенная окружность  
сама в себе заключена  
и лишнего штриха ненужность  
ей незavidна и смешна.

1959

\* \* \*

Нас одурачил нынешний сентябрь  
с наивностью и хитростью ребенка.  
Так повезло раскинутым сетям —  
мы бьемся в них, как мелкая рыбёшка.

Нет выгоды мне видеться с тобой.  
И без того сложны переплетенья.  
Но ты проходишь, головой седой  
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:  
— О, будь неладен, предыдущий месяц.  
Мне надобно свободы от тебя,  
и торжества, и празднества, и мести.

В глазах от этой осени пестро.  
И, словно на уроке рисованья,  
прилежное пишу тебе письмо,  
выпрашивая расставанья.

Гордилась я, и это было зря.  
Опровергая прошлую надменность,  
прошу тебя: не причиняй мне зла!  
Я так на доброту твою надеюсь.

1959

\* \* \*

Ты говоришь — не надо плакать.  
А может быть, и впрямь, и впрямь  
не надо плакать — надо плавать  
в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,  
плывущую из-под руки,  
чтоб даровать себе свободу  
другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко  
в Сибири, в чистой стороне,

где доверительно и слабо  
растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры  
того, что делалось со мной?  
Мерцают в памяти предметы  
и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,  
где среди медленной воды  
посверкивая ходит омуль  
и пёрышки его видны.

И те дома, и те сараи,  
заметные на берегах,  
и цвета яркого саранки,  
мгновенно сникшие в руках.

И в белую полосу чудо —  
внезапные бурундуки,  
так испытующе и чутко  
в меня вперявшие зрачки.

Так завлекала и казнила  
меня тех речек глубина.  
Гранёная вода Кизира  
была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство  
мое и все слова твои  
напоминающей лекарство  
целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,  
что там, среди земли и ржи,  
мне не пришлось сказать ни слова,  
ни слова маленького лжи.

1959

\* \* \*

Влечет меня старинный слог.  
Есть обаянье в древней речи.  
Она бывает наших слов  
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —  
какая вспыльчивость и щедрость!

Но снизойдет и на меня  
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,  
навек проиграв сражение,  
и вот придет на память мне  
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!  
Дитя, наученное веком,  
возьму коня, отдам коня  
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,  
о конь мой, конь мой, конь ретивый.  
Я безвозмездно повод твой  
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,  
в степи пустой и порыжелой.  
А мне наскучил тарарам  
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!  
И на манер средневековый  
ложится под ноги мои  
лишь след, оставленный подковой.

1959

## СВЕТОФОРЫ

*Геннадию Хазанову*

Светофоры. И я перед ними  
становлюсь, отступаю назад.  
Светофор. Это странное имя.  
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.  
Мне в лицо устремляют огни  
и огнями, как будто словами,  
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смешенье  
этих двух разноцветных огней,  
но во мне происходит смешенье  
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,  
о, извечно бесчинствовал спор:  
этот добрый рассудок славянский  
и косой азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,  
в голове, наклоненной к рулю,  
в бесшабашном головокруженье  
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,  
говорю себе: «Погоди».  
Отдаю себя на съеденье  
этой скорости впереди.

1959

### ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.  
На грех наводит, за собой маня.  
Моя работа мне не помогает  
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,  
пишу стихи у краешка стола,  
и все-таки меня снедает ревность,  
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто —  
и у меня в тбилисском том духане,  
в картинной галерее и в кино  
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу  
печник на необжитом новом доме,  
я тоже вытираю о траву  
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор,  
послушно перенять его пример  
и, пристально прикинув к аппаратам,  
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревца сажать,  
из лейки лить на грядках неполитых  
и линии натурщиц отражать,  
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной  
 меня жестоко требует к ответу.  
 Но не прошу я участи иной.  
 Благодарю скупую радость эту.

*1959*

### ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИКОВ

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,  
 а может быть, и меньше, чем пятнадцать,  
 испуганными голосами  
 мне говорили:  
 «Пойдем в кино или в музей изобразительных искусств».  
 Я отвечала им примерно вот что:  
 «Мне некогда».  
 Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.  
 Пятнадцать мальчиков надломленными голосами  
 мне говорили:  
 «Я никогда тебя не разлюблю».  
 Я отвечала им примерно вот что:  
 «Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.  
 Они исполнили тяжелую повинность  
 подснежников, отчаянья и писем.  
 Их любят девушки —  
 иные красивее, чем я,  
 иные некрасивее.  
 Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,  
 а подчас злорадно  
 приветствуют меня при встрече,  
 приветствуют во мне при встрече  
 свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.  
 Поставлю я твои подснежники в стакан,  
 и коренастые их стебли обрастут  
 серебряными пузырьками...  
 Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,  
 и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,  
 как будто победил меня,  
 а я пойду по улице, по улице...

*50-е*

\* \* \*

Я думала, что ты мой враг,  
что ты беда моя тяжелая,  
а ты не враг, ты просто враль,  
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной  
бросал монету в снег.  
Загадывал монетой,  
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал  
там, в Александровском саду,  
и руки грел, а всё обманывал,  
всё думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,  
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,  
в глазах ни сине, ни черно.  
О, проживешь, не опечалишься,  
а мне и вовсе ничего.

Но как же всё напрасно,  
но как же всё нелепо!  
Тебе идти направо.  
Мне идти налево.

*50-е*

\* \* \*

Жилось мне весело и шибко.  
Ты шел в заснеженном плаще,  
и вдруг зеленый ветер шипра  
вздымал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.  
Но вот бревно. Под ним река.  
В реке, в ее ноябрьских недрах,  
займется пламенем рука.

«А глубоко?» — «Попробуй смеряй!» —  
Смеюсь, зубами лист беру  
и говорю: «Ты парень смелый.  
Пройдись по этому бревну».

Ого! — тревоги выраженье  
в твоей руке. Дрожит рука.



Ресниц густое ворошенье  
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), —  
о, поскорей бы, поскорей! —  
над темным холодом, над бойким  
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,  
закрыв лицо воротником,  
и тлеющую папиросу  
в снегу кончаешь каблуком.

*50-е*

\* \* \*

Чем отличаюсь я от женщины с цветком,  
от девочки, которая смеется,  
которая играет перстеньком,  
а перстенёк ей в руки не дается?

Я отличаюсь комнатой с обоями,  
где так сижу я на исходе дня  
и женщина с манжетами собольими  
надменный взгляд отводит от меня.

Как я жалею взгляд ее надменный,  
и я боюсь, боюсь ее спугнуть,  
когда она над пепельницей медной  
склоняется, чтоб пепел отряхнуть.

О, Господи, как я ее жалею,  
плечо ее, понурое плечо,  
и беленькую тоненькую шею,  
которой так под мехом горячо!

И я боюсь, что вдруг она заплачет,  
что губы ее страшно закричат,  
что руки в рукава она запрячет  
и бусинки по полу застучат...

*50-е*

### СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость!  
И под утро так чиста  
виноградная сладость,  
осенившая уста.

Ни о чем я не жалею,  
ничего я не хочу —  
в золотом Свети-Цховели  
ставлю бедную свечу.  
Малым камушкам во Мцхета  
воздаю хвалу и честь.  
Господи, пусть будет это  
вечно так, как ныне есть.  
Пусть всегда мне будут в новость  
и колдуют надо мной  
родины родной суровость,  
нежность родины чужой.

1960

## СПАТЬ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,  
мне — плачущей любою мышцей в теле,  
мне — ставшей тенью, слабою длиною,  
не умещенной в храм Свети-Цховели,  
мне — обнаженной ниткой серебра  
продернутой в твою иглу, Тбилиси,  
мне — жившей, как преступник, — до утра,  
озябшей до крови в твоей теплице,  
мне — не умевшей засыпать в ночах,  
безумьем растлевающей знакомых,  
имеющей зрачок коня в очах,  
отпрянувшей от снов, как от загонов,  
мне — с нищими поющей на мосту:  
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.  
Обугленных желудков нищету  
позолоти своим подарком, хаши»,  
мне — скачущей наискосок и вспять  
в бессоннице, в ее дурной потехе, —  
о Господи, как мне хотелось спать  
в глубокой, словно колыбель, постели.  
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.  
Спать — медленно, как пригублять напиток.  
О, спать и сон посасывать, как сладость,  
пролив слюною сладости избыток.  
Проснуться поздно, глаз не открывать,  
чтоб дальше искушать себя секретом  
погоды, осеняющей кровать  
пока еще не принятым приветом.

Как приторен в гортани привкус сна.  
 Движенье рук свежо и неумело.  
 Неопытность воскресшего Христа  
 глубокой ленью сковывает тело.  
 Мозг слеп, словно остывшая звезда.  
 Пульс тих, как сок в непробужденном древе.  
 И — снова спать! Спать долго. Спать всегда,  
 спать замкнуто, как в материнском чреве.

1960

### СВЕЧА

*Геннадию Шпаликову*

Всего-то — чтоб была свеча,  
 свеча простая, восковая,  
 и старомодность вековая  
 так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо  
 к той грамоте витиеватой,  
 разумной и замысловатой,  
 и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях  
 всё чаще, способом старинным,  
 и сталактитом стеариным  
 займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,  
 и ночь прошла, и гаснут свечи,  
 и нежный вкус родимой речи  
 так чисто губы холодит.

1960

### АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.  
 Вот мальчики — им хочется в походы.  
 В апреле изменения погоды  
 объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,  
 так ищешь ты к себе расположения,  
 так ты бываешь щедр на одолженья,  
 к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,  
приблужишь ты любое отдаленье,  
безумному даруешь просветленье  
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.  
Нет алчности просить тебя об этом.  
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом  
и свет гашу, и в комнате темно.

1960

\* \* \*

Мы расстаемся — и одновременно  
овладевает миром перемена,  
и страсть к измене так в нём велика,  
что берегами брезгает река,  
охладевают к небу облака,  
кивает правой левая рука  
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,  
да, мая не видать вам никогда,  
и распадается иван-да-марья.  
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,  
долготы отстранились от широт,  
и белого не существует цвета —  
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,  
отливы превращаются в прибой,  
и молкнут звуки — по вине разлуки  
меня с тобой.

1960

### МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,  
в той нищенской, в той суверенной,  
где старомодным чудачком  
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,  
среди беды претенциозной,  
капроновые два крыла  
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,  
во глубине магнитофона,  
уже не защищенный мной,  
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,  
жестокий медиум колдует  
и душу слабую мою  
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной  
в зеленом облаке окна  
танцует голосок старинный  
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко  
является чужим очам,  
как будто девочка-сиротка,  
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,  
воспитанный моей гортанью,  
лукавящий на каждом «эль»,  
невнятно склонный к заиканью,  
возникший некогда во мне,  
моим губам еще родимый,  
вспорхнув, остался в стороне,  
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,  
изведавший ее приятность,  
уж он вкусил свободы той  
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,  
старик к нему взывает снова,  
в застиранные два крыла  
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным  
магнитофон во тьме хлопочет,  
мой бедный голос пятки им  
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их  
он кажет нежные изъяны  
картавости — и снов моих  
нецеломудренны туманы.

## В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ «СОКОЛ»

Не знаю, что со мной творилось,  
не знаю, что меня влекло.  
Передо мною отворилось,  
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке «Сокол»  
моя поникла голова.  
Спросив стакан с томатным соком,  
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась  
и говорила невпопад:  
— За красоту твою и милость  
благодарю тебя, томат,

За то, что влагою ты влажен,  
за то, что овощем ты густ,  
за то, что красен и отважен  
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,  
направленные вверх и вниз,  
как опаляющие вихри,  
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей  
по мрамору, словно по льду,  
опасный, огненный, косящий  
зрачок огромный цвёл во лбу.

Вдруг всё, что тех людей казнило,  
всё, что им было знать дано,  
в меня впилося легко и сильно,  
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слёзы,  
навек прилившие к глазам,  
по мне прошли, будто морозы  
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица буфета,  
вся белая, как белый свет,  
воскликнула:

— Да что же это!  
Уйдешь ты всё же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,  
пойдем со мною, брось тужить!

Мы в роще Марьиной прекрасной  
с тобой, две Марьи, будем жить.

В метро на остановку «Сокол»  
с тех пор я каждый день хожу.  
Какой-то горестью высокой  
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной  
припав, как к доброму стволу,  
потягиваю сок холодный  
иль просто около стою.

1960

### ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:  
прощай, любить не обязуйся.  
С ума схожу. Иль восхожу  
к высокой степени безумства.

Как ты любил? — ты пригубил  
погибели. Не в этом дело.  
Как ты любил? — ты погубил,  
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет  
тебе прощенья. Живое тело  
и бродит, видит белый свет,  
но тело мое опустело.

Работу малую висок  
еще вершит. Но пали руки,  
и стайкою, наискосок,  
уходят запахи и звуки.

1960

\* \* \*

*Веничке Ерофееву*

Кто знает — вечность или миг  
мне предстоит бродить по свету.  
За этот миг иль вечность эту  
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянусь,  
а лишь благословляю лёгкость:  
твоей печали мимолётность,  
моей кончины тишину.

1960

## ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать  
уж сыплется, уж смотрит с неба.  
Иду и хоронюсь от света,  
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья  
так выразил в сосульках этих!  
И, запрокинув свой беретик,  
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,  
со сладкой льдинкою во рту,  
оскальзываясь, приседая,  
по снегу белому иду.

*1960*

## ДЕКАБРЬ

Мы соблюдаем правила зимы.  
Играем мы, не уступая смеху  
и придавая очертанья снегу,  
приподнимаем белый снег с земли.

И будто бы предчувствуя беду,  
прохожие толпятся у забора,  
снедает их тяжелая забота:  
а что с тобой имеем мы в виду?

Мы бабу лепим — только и всего.  
О, это торжество и удивленье,  
когда и высота и удлинение  
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: — Смотри, как я леплю. —  
Действительно, как хорошо ты лепишь  
и форму от бесформенности лечишь.  
Я говорю: — Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты  
и слушается нашего приказа.  
И вдруг я замечаю, как прекрасно  
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,  
прохожих мимо, с выраженьем дерзким.  
С лицом таким же пристальным и детским,  
любимый мой, всегда играй в игру.



Поддайся его долговому труду,  
о моего любимого работа!  
Даруй ему удачливость ребенка,  
рисующего домик и трубу.

1960

### ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Мороз, сиянье детских лиц,  
и легче совладать с рассудком,  
и зимний день — как белый лист,  
еще не занятый рисунком.

Ждет заполнения пустота,  
и мы ей сделаем подарок:  
простор листа, простор холста  
мы не оставим без помарок.

Как это делает дитя,  
когда из снега бабу лепит, —  
творить легко, творить шутя,  
впадая в этот детский лепет.

И, слава Богу, всё стоит  
тот дом среди деревьев дачных,  
и моложав еще старик,  
объявленный как неудачник.

Вот он выходит на крыльцо,  
и от мороза голос сипнет,  
и галка, отряхнув крыло,  
ему на шапку снегом сыплет.

И стало быть, недорешен  
удел, назначенный молвою,  
и снова, словно дирижер,  
он не робеет стать спиною.

Спиною к нам, лицом туда,  
где звуки ждут его намёка,  
и в этом первом «та-та-та»  
как будто бы труда немного.

Но мы-то знаем, как велик  
труд, не снискавший одобренья.  
О зимний день, зачем велишь  
работать так, до одуренья?

Позволь оставить этот труд  
и бедной славой утешаться.  
Но — снег из туч! Но — дым из труб!  
И невозможно удержаться.

*1960*

### КОРОЛЕВА

Но вот проходит королева,  
качая медленно серьгой.  
Благоговейно кавалеры  
следят за маленькой ногой.

Она похрустывает шёлком,  
глубины глаз её влажны;  
её ресницами, как шоком,  
мгновенно все поражены.

Как высока её осанка!  
Держа поднос над головой,  
идёт она — официантка  
в кафе под крышей голубой.

Нуждаются в её советах  
тот посетитель и другой,  
и пики снежные салфеток  
взмывают под её рукой.

И над причёскою короткой  
плывёт, надменна и строга,  
её крахмальная корона,  
холодная, как жемчуга.

<1960>

### ЛОДКА

В траве глубоко и сыро,  
если шагнуть с крыльца.  
Держу я чужого сына,  
похожего на отца.

Держу высоко, неловко  
и говорю: «Смотри!  
Видишь, какая лодка  
синяя изнутри!»

Возьмём леденцы, орехи,  
что у меня в столе.  
Посмотрим, какие реки  
водятся на земле.

Есть и река смешная.  
Она течёт далеко.  
Наверно, она смешала  
воду и молоко.

Сахарных рыб немало  
в гуще её рябой...»  
Но бровью поводит мама,  
глядя на нас с тобой.

Нам не устроить побега,  
речек не увидеть.  
Сына после обеда  
строго уложат спать.

Окна, закройте плотно,  
лампочка, не гори!  
А сыну приснится лодка,  
синяя изнутри.

<1960>

\* \* \*

— Всё это надо перешить, —  
сказал портной, — ведь дело к маю.  
— Всё это надо пережить, —  
сказала я, — я понимаю.

И в кольцах камушки сменить,  
и чёлку рыжую подрезать,  
и в край другой себя сманить,  
и вновь по Грузии поездить.

<1960–1961>

## ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы.  
На дно их падает зола.  
Там отдыхают великаны  
после содеянного зла.

Всё холоднее их владенья,  
всё тяжелее их плечам,  
но те же грешные виденья  
являются им по ночам.

Им снится город обречённый,  
не знающий своей судьбы,  
базальт, в колонны обращённый  
и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки  
цветы, что расцвели давно,  
там знаки подают вакханки  
мужчинам, тянущим вино.

Всё разгораясь и глупея,  
там пир идёт, там речь груба.  
О девочка моя, Помпея,  
дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей  
о чём ты думала, о ком,  
когда так храбро о Везувий  
ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,  
расширила зрачки свои,  
чтобы не вынести раскатов  
безудержной его любви.

И он челом своим умнейшим  
тогда же, на исходе дня,  
припал к ногам твоим умершим  
и закричал: «Прости меня!»

<1960—1961>

\* \* \*

Жила в позоре окаянном,  
а всё ж душа — белым-бела.  
Но если кто-то океаном  
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый!  
Ты б сам не выплыл — это я  
волною нежной и брезгливой  
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!  
Как позабыла в той беде,  
что стал ты рыбой голубою,  
взлелеянной в моей воде!

Я за тобой приливом белым  
вернулась. Нет за мной вины.  
Но ты в своем испуге бедном  
отпрянул от моей волны.

И повторяют вслед за мною,  
и причитают все моря:  
о, ты, дитя мое родное,  
о, бедное — прости меня.

*1960—1961*

\* \* \*

О, мой застенчивый герой,  
ты ловко избежал позора.  
Как долго я играла роль,  
не опираясь на партнёра!

К проклятой помощи твоей  
я не прибегнула ни разу.  
Среди кулис, среди теней  
ты спасся, незаметный глазу.

Но в этом сраме и бреду  
я шла пред публикой жестокой —  
всё на беду, всё на виду,  
всё в этой роли одинокой.

О, как ты гоготал, партер!  
Ты не прощал мне очевидность  
бесстыжую моих потерь,  
моей улыбки безобидность.

И жадно шли твои стада  
напиться из моей печали.  
Одна, одна — среди стыда  
стою с упавшими плечами.

Но опрометчивой толпе  
герой действительный не виден.  
Герой, как боязно тебе!  
Не бойся, я тебя не выдам.

Вся наша роль — моя лишь роль.  
Я проиграла в ней жестоко.  
Вся наша боль — моя лишь боль.  
Но сколько боли. Сколько. Сколько.

*1960—1961*

\* \* \*

Смотрю на женщин, как смотрели встарь,  
с благоговением и выжиданьем.  
О, как они умеют сесть, и встать,  
и голову склонить над вышиваньем.

Но ближе мне могучий род мужчин,  
раздумья их, сраженья и проказы.  
Склоненные под тяжестью морщин,  
их лбы так величавы и прекрасны.

Они — воители, творцы наук и книг.  
Настаивая на высоком сходстве,  
намереваюсь приравняться к ним  
я в мастерстве своем и благородстве.

Я — им чета. Когда пришла пора,  
присев на покачнувшиеся нары,  
я, запрокинув голову, пила,  
чтобы не пасть до разницы меж нами.

Нам выпадет один почёт и суд,  
работавшим толково и серьезно.  
Обратную разоблачая суть,  
как колокол, звенит моя серёжка.

И в звоне том — смятенье и печаль,  
незащищенность детская и слабость.  
И доверяю я мужским плечам  
неравенства томительную сладость.

*1960—1961*

\* \* \*

Так и живем — напрасно маясь,  
в случайный веруя навет.  
Какая маленькая малость  
нас может разлучить навек.

Так просто вычислить, прикинуть,  
что без тебя мне нет житья.  
Мне надо бы к тебе приинкнуть.  
Иначе поступаю я.

Припав на желтое сиденье,  
сiju в косыночке простой  
и направляюсь на съеденье  
той темной станции пустой.

Иду вдоль белого кладбища,  
оглядываюсь на кресты.  
Звучат печально и комично  
шаги мои средь темноты.

О, снизойди ко мне, разбойник,  
присвистни в эту тишину.  
Я удивленно, как ребенок,  
в глаза недобрые взгляну.

Зачем я здесь, зачем ступаю  
на темную тропу в лесу?  
Вину какую искупаю  
и наказание несую?

О, как мне надо возродиться  
из этой тьмы и пустоты.  
О, как мне надо возвратиться  
туда, где ты, туда, где ты.

Так просто станет всё и цельно,  
когда ты скажешь мне слова  
и тяжело и драгоценно  
ко мне склонится голова.

*1960—1961*

\* \* \*

Из глубины моих невзгод  
молюсь о милом человеке.  
Пусть будет счастлив в этот год,  
и в следующий, и вовеки.

Я, не сумевшая постичь  
простого таинства удачи,  
беду к нему не допустить  
стараюсь так или иначе.

И не на радость же себе,  
загородив его плечами,  
ему и всей его семье  
желаю миновать печали.

Пусть будет счастлив и богат.  
Под бременем наград высоких  
пусть подымает свой бокал  
во здравие гостей веселых,

не ведая, как наугад  
я билась головою оземь,  
молясь о нём — средь неудач,  
мне отведенных в эту осень.

*1960—1961*

## ЖЕНЩИНЫ

Какая сладостная власть  
двух женских рук, и глаз, и кожи.  
Мы этой сладостию всласть  
давно отравлены. И всё же —

какая сладостная власть  
за ней, когда она выходит  
и движется, вступая в вальс,  
и нежно голову отводит.

И нету на неё суда!  
В ней всё так тоненько, и ломко,  
и ненадёжно. Но всегда  
казнит меня головоломка:

при чём здесь я? А я при чём?  
Ведь было и моим уделом  
не любоваться тем плечом,  
а поводить на свете белом.

И я сама ступала вскользь,  
сама, сама, и в той же мере  
глаза мои смотрели вкось  
и дерзость нравиться имели.

Так неужели дело в том,  
другом волненье и отваге,  
и в отдалении глухом,  
и в приближении к бумаге,



где все художники равны  
и одинаково приметны,  
и женщине предпочтены  
все посторонние предметы.

Да, где-то в памяти, в глуши  
другое бодрствует начало.  
Но эта сторона души  
мужчин от женщин отличала.

О, им дано не рисковать,  
а только поступать лукаво.  
О, им дано не рисовать,  
а только обводить лекало.

А разговоры их! А страсть  
к нарядам! И привычка к смеху!  
И всё-таки — какая власть  
за нею, выходящей к свету!

Какой продуманный чертёж  
лица и рук! Какая точность!  
Она приходит — и в чертог  
каморка расцветает тотчас.

Как нам глаза ее видны,  
как всё в них тёмно и неверно!  
И всё же — нет за ней вины,  
и будь она благословенна.

*1960—1961*

### ЗИМА

О жест зимы ко мне,  
холодный и прилежный.  
Да, что-то есть в зиме  
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг  
из темноты и муки  
доверчивый недуг  
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,  
заденет лоб мой снова  
целебный поцелуй  
колечка ледяного.

И всё сильнее соблазн  
встречать обман доверьем,  
смотреть в глаза собак  
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,  
с разбега, с поворота,  
и, завершив прощать,  
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,  
с его пустым овалом,  
и быть всегда при нём  
его оттенком малым.

Свести себя на нет,  
чтоб вызвать за стеною  
не тень мою, а свет,  
не заслоненный мною.

*1961*

## БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений  
перед тобою так мелка,  
и осеняет темный гений  
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах  
был разум мой высок и скуп,  
но трав целебных поределых  
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,  
я, с точностью того зверька,  
принюхавшись, нашла свой выход  
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!  
О, всех простить, всем передать  
и нежную, как облученье,  
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!  
При вас лишь, в бедности моей,  
я плакала от смутной веры  
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!  
Пусть вы протянуты к тому,  
что лишь моей любви и муки  
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!  
Вы были мне укор и суд.  
Все мои горестные плачи  
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!  
Целую наспех все уста!  
Во мне, как в мертвом теле круга,  
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,  
как в белых дребезгах перин,  
и уж не тягостен мой локоть  
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.  
Жду одного: на склоне дня,  
охваченный болезнью схожей,  
пусть кто-нибудь простит меня.

*1961*

## ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук  
в блаженстве той свободы пустяковой,  
когда былой уже закончен труд  
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим  
небыстрым ходом! Но — за проволочку —  
теперь сполна я расквиталась с ним,  
пощёчиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.  
Целует в лоб младенческая легкость.  
Свободен — легкомысленный висок.  
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,  
так кротко спит твой бешеный сангвиник,  
всем утомленьем клеившись в матрац,  
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнёт  
неведенья рассудком безрассудным.  
Но день воскресный уж баклуши бьет  
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют  
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,  
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,  
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,  
холодный душ уже развесил розги.  
Я прыгаю с постели, как в сугроб —  
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи  
с плеч голова покорно полетела.  
О умывальник, как люты твои  
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,  
когда туманы воздух утолщают  
и зрелых капель чистые плоды  
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,  
ликую я — твой добрый обыватель,  
вдыхатель твоей влажности густой,  
твоих сосулек теплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нём  
не обнаружить малого пробела,  
который я, в усердии моём,  
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,  
нога ледок любовно расколола.  
Могуществом кофейного зерна  
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,  
глубоко в горле возникает голос.  
Ко мне крадется ненасытный труд,  
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,  
зияя пустотою, как скворешник,  
весну корящий, — разве не могла  
его наполнить толчеей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев  
мне не бродить. Но что всё это значит?  
Бумаги белый и отверстый зев  
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,  
наскучившего и опять родного.  
В ладонь склоняясь тяжестью лица,  
я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,  
располагаю голову и плечи,  
чтоб обижал и ранил их процесс,  
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.  
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,  
свершить звукорождение и затем  
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.  
Пускай дудит и веселит окрестность.  
А мне опять — заснуть, как умереть,  
и пробудиться утром, как воскреснуть.

1961

\* \* \*

Глубоким голосом пророка,  
донесшимся издалека,  
«Возьми!» — сказала мне природа  
о чистых струях родника.

Она мне воду даровала,  
назначенную для корней.  
Поскрипывая деревянно,  
ступени приводили к ней.

Среди цветов густых, истошных,  
воды желяющих, воды,  
в моих ладонях тѣк источник.  
В нём были камушки видны.

— Ну пей же, пей, — земля просила, —  
купайся, запускай суда.  
— Да, да, — сказала я, — спасибо,  
какая чистая вода.

Как всё живое к ней стремится,  
как сохнет в горле у него,

а вот она — ко мне струится,  
желанья ищет моего.

Но я не жажду утоленья.  
Я долго на воду смотрю.  
И медлю я. И промедленья  
никак в себе не поборю.

<До 1962>

\* \* \*

О, слово точное — подонки!  
Меж них такая кутерьма.  
Темны их лица и подобны  
одно другому.

Я сама

толкаюсь в их движенье тесном,  
не в силах скрыться в стороне,  
как бы измазанные тестом,  
их руки липнут и ко мне.

Всё, что удобно и съедобно,  
так безудержно их влечёт.  
Они ко мне добры сегодня  
и обещают мне почёт.

Но будут глухи их удары,  
когда придёт пора моя,  
и, как надменные удавы,  
они посмотрят на меня.

— Погибнет это дарованье! —  
мне напророчат за глаза.  
Неведомы и деревянны  
их лики, словно образа.

Им предстоит удел обратный.  
Он их настигнет всё равно.  
Но сколько предано объятий  
и душ нестойких растлено!

Есть утешение скупое —  
в их жизни, алчной и лихой,  
они наказаны собою,  
своей бездарностью глухой.

<До 1962>

---

# ПОЭМЫ

---

## ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,  
как лошадь, ожидающая бега.  
Надменный мой сосед по этажу  
и тот вскричал:  
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг  
колеблет стены и сквозит повсюду.  
Моих детей он воспаляет дух  
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:  
— Я дрожу  
всё более — без умысла худого.  
А впрочем, передайте этажу,  
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,  
в мои слова вставлял свои ошибки,  
моей ногой приплясывал, мешал  
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролёт,  
следил за мной брезгливо, но без фальши.  
Его я обнадежила:  
— Пролог  
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!  
В себе я различала, взглядом скорбным,  
мельканье диких и чужих существ,  
как в капельке воды под микроскопом.

Всё тяжелей меня хлестала дрожь,  
вбивала в кожу острые гвоздочки.  
Так по осине ударяет дождь,  
наказывая все ее листочки.



Я думала: как быстро я стою!  
Прочь мускулы несутся и резвятся!  
Мое же тело, свергнув власть мою,  
ведет себя надменно и развязно.

Оно всё дальше от меня! А вдруг  
оно исчезнет вольно и опасно,  
как ускользает шар из детских рук  
и ниточку разматывает с пальца?

Всё это мне не нравилось.  
Врачу  
сказала я, хоть перед ним робела:  
— Я, знаете, горда и не хочу  
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:  
— Ваша болезнь проста.  
Она была б и вовсе безобидна,  
но ваших колебаний частота  
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет  
и велика его движений малость,  
он зрительно почти сведён на нет  
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор  
к моим приметам неопределенным,  
и острый электрический прибор  
охладил меня огнём зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!  
Выиграла ртуть в неистовом подскоке!  
Последовал предсмертный всплеск стекла,  
и кровь из пальцев высекли осколки.

Стревожься, добрый доктор, оглянись!  
Но он, не озадаченный нимало,  
провозгласил:  
— Ваш бедный организм  
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама  
свою причастность этой высшей норме.  
Не умещаюсь в узости ума,  
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств  
наученная, нервная система,  
пробившись, как пружины сквозь матрац,  
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс  
всегда гудел, всегда хотел на волю.  
В конце концов казалось: к черту! Пусть  
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.  
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,  
что скрипнет дверь иль книга упадет,  
и — взрыв! и — всё! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,  
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.  
При мне всегда стоял сквозняк дверей!  
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,  
слезы светлела вечная громада.  
Я — всё собою портила! Я — рай  
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,  
и с мудростью, цветущей в человеке,  
как музыку по нотным запятым,  
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом  
целебным поцелуем валерьяны,  
и медицина мятным языком  
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд  
он поздравлял меня с выздоровленьем  
через своих детей и, говорят,  
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,  
ответила на письма. Я гуляю,  
особо, с пользой делая круги.  
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.  
И стол мой умер и под пылью скрылся.  
Уставили во тьму карандаши  
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,  
мой каждый шаг медлителен, стреножен.  
Всё хорошо! Но по ночам меня  
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,  
но зря ему я голову морочу,  
ведь всё, что он лелеял и лечил,  
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,  
спасаюсь слепотой и тишиною,  
но, поболев, пощекотав во лбу,  
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,  
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,  
подрагивая в чистом серебре  
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,  
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!  
Я — балерина музыки твоей!  
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,  
сейчас о том не может быть и речи.  
Но мой предусмотрительный сосед  
уже со мною холоден при встрече.

1962

## СКАЗКА О ДОЖДЕ

*в нескольких эпизодах с диалогами и хором детей*

### 1

Со мной с утра не расставался Дождь.  
— О, отвяжись! — я говорила грубо.  
Он отступал, но преданно и грустно  
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.  
Его корила я:  
— Стыдись, негодник!  
К тебе в слезах взывает огородник!  
Иди к цветам!  
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.  
Дождь был со мной, забыв про всё на свете.  
Вокруг меня приплясывали дети,  
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе  
и спряталась за стол, укрытый нишей.  
Дождь под окном пристроился, как нищий,  
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека  
наказана пощёчиною влаги,  
но тут же Дождь, в печали и отваге,  
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.  
Сырым платком я шею обвязала.  
Дождь на моём плече, как обезьяна,  
сидел.  
И город этим был смушен.

Обрадованный слабостью моей,  
Дождь детским пальцем щекотал мне ухо.  
Сгушалась засуха. Всё было сухо.  
И только я промокла до костей.

## 2

Но я была в тот дом приглашена,  
где строго ждали моего привета,  
где над янтарным озером паркета  
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?  
Ведь он со мной расстаться не захочет.  
Он наследит там. Он ковры замочит.  
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я толком объяснила: — Доброта  
во мне сильна, но всё ж не безгранична.  
Тебе ходить со мною неприлично. —  
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!  
Какой любовью на меня ты пролит?  
Ах, этот странный климат, будь он проклят!  
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

## 3

Хозяин дома оказал мне честь,  
которой я не стоила. Однако,  
промокшая всей шкуркой, как ондатра,  
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,  
дышал в затылок жалко и щекотно.  
Шаги — глазок — молчание — шеколда.  
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?  
Он слишком влажный, слишком удлинённый  
для комнат.  
— Вот как? — молвил удивлённый  
хозяин, изменившийся в лице.

## 4

Признаться, я любила этот дом.  
В нём свой балет всегда вершила лёгкость.

О, здесь углы не ушибают локоть,  
здесь палец не порежется ножом.

Любила всё: как медленно хрустят  
шелка хозяйки, затененной шарфом,  
и, более всего, плененный шкафом —  
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,  
в гробу стеклянном, мёртвый и прелестный.  
Но я очнулась. Ритуал приветствий,  
как опера, станцован был и спет.

## 5

Хозяйка дома, честно говоря,  
меня бы не любила непременно,  
но робость поступить несовременно  
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,  
смирённый в слабом горлышке горячки!)  
— Благодарю, — сказала я, — в горячке  
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.  
Ведь я хотела, поклонившись слабо,  
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,  
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстояний отдалённость! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,  
на площади, средь музыки и брани,  
мы свидимся опять при барабане,  
вскричите вы:

«В огонь ее, в огонь!»

За всё! За Дождь! За после! За тогда!  
За чернокнижье двух зрачков чернейших,  
за звуки с губ, как косточки черешен,  
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.  
 Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!  
 Лижи мне руки в нежности великой!  
 Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —  
 проговорил хозяин уязвленный. —  
 Но, впрочем, слава поросли зеленой!  
 Есть прелесть в поколенья молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —  
 просила я. — Всё это Дождь наделал.  
 Да, это Дождь меня терзал, как демон.  
 Да, этот Дождь вовлѣк меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,  
 мой верный Дождь один стоял и плакал.  
 В моих глазах двумя слезами плавал  
 лишь след Дождя, оставшийся во мне.

## 6

Одна из гостей, протянув бокал,  
 туманная, как голубь над карнизом,  
 спросила с неприязнью и капризом:  
 — Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли муж? Не знаю. Не вполне.  
 Но он богат. Ему легка работа.  
 Хотите знать один секрет? — Есть что-то  
 неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —  
 во мне была такая откровенность, —  
 он разом обратит любую ценность  
 в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.  
 Спасем звезду из тесноты колечка! —  
 Она кольца мне не дала, конечно,  
 в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —  
 меня влечет подохнуть под забором.  
 (Язык мой так и воспаялся вздором.  
 О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

## 7

Всё, Дождь, тебе припомнится потом!  
Другая гостья, голосом глубоким,  
осведомилась:  
— Одаренных Богом  
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:  
— Приходит Бог, преласков и превесел,  
немного старомоден, как профессор,  
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх иль вниз,  
в кровь разбивая локти и коленки  
о снег, о воздух, об углы Кваренги,  
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,  
тот острый купол помните? Представьте —  
всей кожей об него!  
— Да вы присядьте! —  
она меня одернула в сердцах.

## 8

Тем временем, для радости гостей,  
творилось что-то новое, родное:  
в гостиную впускали кружевное,  
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!  
Я всё лгала, я поступала дурно!  
В тебе, как на губах у стеклодува,  
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,  
дитя твое, отлитое так нежно!  
Как точен контур, обводящий нечто!  
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой  
в отчаянье вседенном и всенощном  
над детищем твоим, о, над сыночком  
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.  
Я плакала:  
— Прости меня! Прости же!  
Глаза твои премудры и пречисты!



## 9

Тут хор детей возник невдалеке:

— Ах, так сложилось время —  
смешинка нам важна!  
У одного еврея —  
хе-хе! — была жена.

Его жена корпела  
над тягостным трудом,  
чтоб выросла копейка  
величиною с дом.

О, капелька металла,  
созревшая, как плод!  
Ты солнышком вставала,  
украсив небосвод.

Всё это только шутка,  
наш номер, наш привет.  
Нас весело и жутко  
растит двадцатый век.

Мы маленькие дети,  
но мы растём во сне,  
как маленькие деньги,  
окрепшие в казне.

В лопатках — холод милый  
и острия двух крыл.  
Нам кожу алюминий,  
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скушно,  
нас трогает порой  
искусствочко, искусство,  
ребёночек чужой.

Родителей оплошность  
искупим мы. Ура!  
О, пошлость, ты не подлость,  
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева  
ты нас спасешь потом.  
Целуем, королева,  
твой бархатный подол.

## 10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.  
Мое плечо вело чужую руку.  
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.  
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть  
над мальчиком, заснувшим спозаранку,  
в уста его, в ту алчущую ранку,  
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нём, как в перламутровом яйце,  
спала пружина музыки согбенной?  
Как радуга — в бутоне краски белой?  
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?  
Медведица, вы для какой забавы  
в детёныше влюбленными зубами  
выщелкивали Бога, словно блох?

## 11

Хозяйка налила мне коньяка:  
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —  
Прощай, мой Дождь!  
Как весело, как мило  
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!  
Вино, лишь ты ни в чём не виновато.  
Во мне расщеплен атом винограда,  
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,  
привязанный к двум деревьям склоненным.  
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном  
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь всё больше, всё добрей!  
Смотрите — я уже добра, как клоун,  
вам в ноги опрокинутый поклоном!  
Уж мне тесно́ средь окон и дверей!

О Господи, какая доброта!  
Скорей! Жалеть до слёз! Пасть на колени!  
Я вас люблю! Застенчивость калеки  
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?  
Обидьте! Не жалейте, обижая!  
Вот кожа моя — голая, большая:  
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!  
Как небеса, круглы мои объятия.  
Мы из одной купели. Все мы братья.  
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!

## 12

Прошел по спинам быстрый холодок.  
В тиши раздался страшный крик хозяйки.  
И ржавые, оранжевые знаки  
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.  
В него впивались веники и щётки.  
Он вырывался. Он летел на щёки,  
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.  
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.  
Но дом над ним уж замыкал свой скрежет,  
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,  
паркет марая, полз ко мне на брюхе.  
В него мужчины, подымая брюки,  
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой  
и выжимали, брезгуя, в уборной.  
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,  
кричала я:  
— Не трогайте! Он мой!

Дождь был живой, как зверь или дитя.  
О, вашим детям жить в беде и мýке!  
Слепые, тайн не знающие руки  
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:  
— Учти,  
еще ответишь ты за эту встречу! —  
Я засмеялась:  
— Знаю, что отвечу.  
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

Страшил прохожих вид моей беды.

Я говорила:

— Ничего. Оставьте.

Пройдет и это. —

На сухом асфальте

я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,

и горизонт вокруг города был розов,

Повергнутое в страх Бюро прогнозов

осадков не сулило никогда.

1962

*Тбилиси—Москва*

---

# ВОСПОМИНАНИЯ

---

## ЖИВОЕ СЕМИЦВЕТЬЕ

Не помню, как мы познакомились. Да мы и не познакомились вовсе: мы учились вместе в Литературном институте, виделись мимоходом и часто на Тверском бульваре, в Переделкино кивали друг другу с торопливой приветливостью, а сейчас редко встречаемся.

Но когда я вижу что-нибудь синее, оранжевое, золотое — любую милую яркость, которой одаряет нас мир, я вспоминаю юношу в блеклом лыжном костюме и свое нежное уважение к нему, к его восприимчивости к тем краскам, что украшают жизнь своим живым семицветьем. Вспоминаю, как однажды, давно уже, мы столкнулись с ним в долгом вечернем сумраке опустевшего институтского коридора, и я заметила, что он невелик ростом, а в скромном, тихом лице его есть второе, глубокое выражение: какой-то страстной сосредоточенности и доброй печали. Может быть, это остро-черные, пристально нацеленные в упор зрачки придавали его простым чертам многозначительность. Я знала о нём, что он — чуваш, из маленькой далекой деревни, и в Москве недавно.

— Ну, как дела? — спросила я на ходу.

Он быстро глянул своими, словно остроконечными, метко видящими зрачками и, простив мне условные вопросы и радуясь собеседнику, рассказал мне о своей деревне, как он скучает по ней, как сильно окрашено всё там: небо, ягоды, вода, глаза лошадей, и всё такого прекрасного, всеобъемлюще синего цвета.

Впервые я услышала о его стихах от Михаила Аркадьевича Светлова: он всем нам причинил то или иное добро, но хвалил нас не так уж часто. Юношу в синем костюме он, не остерегаясь, хвалил.

Впоследствии я эти стихи слышала, читала, перечитывала. Они могут показаться сложными, несколько витиеватыми, но мне думается, что не нарочитость виной тому, а серьёзная и подлинная сложность, которую ощущает в мире и в себе юный, наивно-проницательный человек, сильно, азартно устремивший в жизнь зрение, слух, руки. Он пристально смотрит вокруг, и нет такой малости, которая не показала бы ему значительной, располагающей к раздумью. В будничном, привычном он отгадывает возвышенность и красоту, делает их предметом искусства. Многие чудеса поражают его: поезды, мелькнувший фонарь, такой таинственно-светлый, как будто маленький Пимен поместился в нём и завершает сказанье, белый архипелаг са-

да, дивный овал человеческого лица, человеческие выдумки и творения и всё, чего так много и из чего и возникает постепенно непростой и прекрасный мир, близко подступающий к глазам. И как щедро, буйно и родимо этот мир расцвечен: в нём и радуги, и Йиржи Волькер, и черный куст в розовом пространстве, и лиловые маляры.

Он — поэт. Вот в чём дело. Зовут его Геннадий Айги.

1964

## ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клёкот, который всё нарастает в гортани, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поёт сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври — остроконечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уж все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также всё остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

1964

## ОТРЫВОК

Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображенный, искаженный их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!

Но платаны на проспекте Руставели розовели в честь предстоящей зимы!

Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости желтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они взывали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но всё же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого переделкинского гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и раже когда-нибудь отступится она от Метехи?

Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли. По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык еще живет во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого «и». Как мучилась я из-за этой, не данной мне, музыки — мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, еще недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели ее жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.

Да, нет счастья надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.



## ПУТЕШЕСТВИЕ

*Памяти Джона Стейнбека,  
его собаки Чарли, всех моих собак,  
всех, кого любила и потеряла.*

«Путешествие с Чарли» — знаменитая прекрасная книга Стейнбека.

Я видела его в Москве, в редакции журнала «Юность». Ничего позорнее этого молодого собрания я не помню. Там были замечательные писатели: Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин. Я пришла с опозданием: у меня в тот день отобрали автомобильные права. Предводительствовал Борис Полевой. У него и у Стейнбека как-то в розную кось смотрели глаза. Подавали кофе, Стейнбек попросил другого напитка — не дали, он пошутил: «Я слышал, что в России даже из табуреток это добывают».

Мы все молчали. Мы — по-разному — были добычей страха или той доблести, когда не плетут лишнего, но всё-таки плетут и расплачиваются.

Гладилин спросил: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Хемингуэем? О чём Вы говорили?»

— Только о том, кто первый заказывает.

Спросили: «Мистер Стейнбек, Вы встречались с Дос-Пассосом?»

— Говорили о том же. Почему Вы ничего не говорите? Вы — молодцы. Вы должны быть отважны, как молодые волки.

Полевой шепнул мне в ухо:

— Беллочка, скажите что-нибудь.

Я сказала: «Господин Стейнбек, Вы вернетесь в Америку. Вам будет грустно, а мне стыдно. «Но не волк я по крови своей». Вы заметили: я опоздала. У меня отобрали автомобильные права. Других прав не имею и не возьмею».

Мне стало известно, что Стейнбек понял меня.

Прошло время, погибла моя собака. Я хотела обрести облегчение: написав «Путешествие с Ромкой». Я имела в виду не географический сюжет, а трагический, исторический: рождение, жизнь, смерть. Но боль, посвященная собаке, превозмогла мою способность писать. Я не обрела облегчения и умру с этой мыслью.

1968

## «МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ...»

Двадцать девятого января, а по-нынешнему десятого февраля, люди с особенным выражением говорят о нескончаемом Пушкине, о его присутствии в яви дня и безутешно горюют, потому что прежде Пушкин был хрупко живой, родимый человек, а его ранили в живот и убили.

Но я хочу повести речь только о жизни, в которой всегда есть пушкинская причина ликовать и с днём печали многозначительно соседствует день радости. Например, четырнадцатого февраля, при морозе и солнце, можно выехать из Пскова в сторону Опочки, минуя Остров, еще раз благословить имя доброго Пушкина, купившего здесь когда-то три бутылки «клик», в должном месте повернуть налево, обмирать и ждать, когда прояснится вдали шпиль Святогорского монастыря, еще раз повернуть и еще, сильным топотом отрясти на крыльце снег и с разлёту, с холоду, из сеней, выпалить: «Здравствуйте, Семён Степанович! Поздравляю Вас с чудесным днём Вашего семидесятилетия!»

Ехать мне никак невозможно, и остается призывать к себе михайловские виды, благо они всегда вблизи души. Солнечный свет разбивается о сугробы, о лёд, придерживающий течение Сороти, в стороне от дневного блеска сдержанно высятся необщительные ганнибаловские ели. А в доме тепло, славно, кот Васька в полдремлющего глаза озирает ненасытную птичью толчею за окном, и у печки, посылающей в небо весть о здравии этого жилья, в душегрейке и больших валенках стоит пригожий юбиляр, не одобряет моей затеи рассуждать о нём во всеуслышание, а поделаться издалека ничего не может. И я распадаю.

Вам и без меня известно, что Семён Степанович Гейченко возглавляет Государственный Пушкинский заповедник. Но одних этих высокие полномочий мало, чтобы обрести доверие одушевленных деревьев, разгадать капризы старых строптивых вещей и воскресить в окне кабинета подлинное пламя свечи. Посудите сами, что для Домового — просто директор, а между тем он слушается, рачительно выполняет пушкинскую волю, объявленную ему в специальном послании.

Кем приходится Гейченко единственному хозяину этих мест, если знает его так коротко и свободно? Счастливая игра — сидеть вечером на разогретой лежанке и спрашивать: какую обувь носил Пушкин зимой в деревне? Какую позу нечаянно предпочитал для раздумья? Когда спрашивал кружку, то для вина, наливки или другой бодрящей влаги? Если никакой не было, куда посылал? (Один прилежный человек удивился последнему глупому вопросу: как — не было? Наверняка в доме держался нужный запас. Семён Степанович ему ничего не сказал, только глянул весело, не свысока, а издалека, из давнего знакомства с дарителем, расточителем, любителем угощать, а чтобы печься о припасах или другим велеть — не тем была его голова занята.) Все эти нехитрые тайны ведомы и другим людям, но они проникли в них усилиями учёности, а Гейченко — вблизи видел, помнит, и всё тут. Поэтому жив и очевиден Пушкин в Михайловском. Любой, чья совесть не отягощена заведомым невежеством или дурным помыслом, встретит в парке узкий след его петербургских

кожаных калош, застанет врасплох кресло, не успевшее воспрянуть после того, как он сидел в нём, подвернув правую ногу и муча зубами перо.

Когда Семён Степанович говорит, в нём открывается целый театр: в остром, примечательном лице хватает простора для множества действующих лиц, в большом, старинном голосе спорит и пререкается их многоголосье, вдохновенно и хищно парит пустой рукав. Вы скажете: ну вот, возможно ли поминать пустой рукав? Ничего, возможно, ведь это уже не отсутствие руки, потерянной на войне, это присутствие крыла, указующего, заманивающего. Этот невиданный-неслыханный артистизм — тоже достопримечательность заповедника, но в нём нет собственной корысти: это верный способ одарить нас Пушкиным, наградить им, осыпать с головы до ног.

Чтобы ваш, мой и каждого Пушкин вольготно населял эти комнаты и аллеи, Гейченко не навязывает ему своего хотенья: откуда-то ему точно известно, что Пушкину угодно и удобно. Прилежный человек спросил: неужели Пушкин не тяготился нетопленными печами и довольствовался простецким видом дома и усадьбы? Семён Степанович и на это ничего не сказал, а дворовый Пётр, бывший кучером, засмеялся из давно минувших дней: «Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал; а ему, бывало, всё равно, хошь мужик спи, хошь гуляй; он в эти дела не входил». А может, и есть меж ними — Пушкиным и Гейченко — какие-нибудь дружественные несогласия, об этом я не берусь судить. Ведь здесь действуют не личность и тень, а две личности, и вторая оснащена собственным немалым талантом. Может быть, к этому сводится тайна, позволяющая поэту бодрствовать в михайловских рощах? Кроткий исследователь, ставший как бы тенью великого человека, повторяет его меньше, чем соучастник, достойный товарищ, на которого смело можно оставить дом, сад, рукописи, недогоревшую свечу и отправиться в Тригорское, а если позволят, и в Петербург.

Солнце убывает, мороз крепчает, четырнадцатый день февраля на исходе, хозяйка всё хлопочет, хотя стол совершенно и чрезмерно накрыт, медленно синеют сугробы, и мне надо спешить, чтобы успеть добавить ко всем речам, письмам, тостам и телеграммам признание в пылкой и почтительной нежности.

1973

### «ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...»

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щёк, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое ли-

цо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щёки, вздор и угрюмое желание зарифмовать всё, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, пёрышко, не много черноты, условная дань чуждой зиме. Так же как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горé.

Обремененный лишь лёгкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётном его походки и теперь совершенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чудак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним небывалостью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорок и строг.

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего...

Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды,  
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять», столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих квеври — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой лёгкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолётных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горяшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многученые люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит,  
и средь тутовых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире — для меня. Снег, деревья, фонари, в теплых сенях — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.

— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходятся мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и советовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, и больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединять воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намёк,  
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в туловых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.

1973

## АННА КАЛАНДАДЗЕ

Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне ее рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась поутру, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в мое окно, радио гремело: «У любви, как у пташки, крылья...» Начинался день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, острозрячего Симона, дача была неподалёку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горé, четко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащенные высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки еще не иссякли и Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнáешь: Анна — прекрасна!» К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и ее язык, собственный, вéдомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объему и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю потому, что облик ее пора-

зил и растрогал меня хрупкостью очертаний, серьезнейшей скромностью и тишиной — о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впад и не совершают лишних поступков.

Потом, в Москве, в счастливом уединении, я переводила стихотворения Анны Каландадзе, составившие ее первую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелеными обоями плыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвами, Орцхали... Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Ее страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, всё еще не утолена, склоняет ее к мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живет и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за соцветие магнолии, за безымянный стебелёк. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне всё равно, но Анна и цветки по имени «иа» были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.

Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тогда предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была — хуже. Но много лет прошло, и я еще улучшусь, Анна, и вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишённые первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моём родном языке, а славно и нежно звучали.

До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: «Мравалжáмиер, многие лета!»

1975

## О ЕВГЕНИИ ВИНОКУРОВЕ

Я пишу всё это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сажу за столом, улыбаюсь и не умею писать.

Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведóмая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пыла-

ние моих молодых щёк причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моём лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачёва. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю мучу — быть юным. Спрашиваю надменно: «Это вы — поэт Евгений Винокуров?» Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нём усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его лёгкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслужить. Потом, к лучшей моей радости, мы стали коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубилось мое чудовищное невежество (Винокуров был поражен им, но не раздражен), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощенная в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям, которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.

Наши беседы, которые случались всё чаще и длились всё дольше, учили меня тому, что поэт — не надземен, что и в житье-бытье его разум внятен, точен и неспособен к расплывчатости суждений. Поэзия — не спорить же с Пушкиным! — глуповата, но поэт — всепременно умён.

Но не обо мне, пылко признательной Винокурову, речь, а лишь о нём, о его многозначительной личности, равной его книгам, сейчас разложенным на моём столе и всегда существующим в нашей памяти и жизни. Если счастливый случай сводит нас с поэтом в соседство знакомства и дружбы — это чрезвычайное и уже лишнее благо, ничего не меняющее в его главном значении для нашей судьбы. Не умея подвергать творчество Винокурова учёному обзору и умному суду, оставляя каждому читателю свободу располагать подарком его дарования по собственному усмотрению, я хотела бы ненавязчиво упомянуть лишь некоторые приметы, по которым мы с лёгкостью и мгновенно отличим и узнаём речь этого истинного поэта. Винокуров известен и знаменит — своим, особенным и очень достойным способом: просто и отчётливо и вне поверхностного шума. Меж тем о нём легко и удобно было бы шуметь: он смел и дерзок в обращении со словом, как ес-



ли бы он пошел на преднамеренный вызов выпренности, высокопарности, о которых принято думать, что они и отличают поэзию от прочих речей и разговоров, которыми так легко провести слух неопытного слушателя (Винокуров не часто читает, вслух не произносит свои стихи, но ведь и глазами лишь принимая стихи, мы их сразу же слышим). Он предпочел (естественно, непринужденно, но как будто с осмысленным азартом и озорством поступил) «слова, которыми на улицах толкуют». Все большие поэты, как бы высоко ни пела их гортань, всё же говорили на языке своих сограждан, даже проще умея, даже грубей назвать любой предмет и ощущение по имени. Еще: строка Винокурова подобна безошибочной формуле точных наук, которую следовало бы изобразить не так: *с л о в а...*, а так: слово. Слово. То есть не бесформенность, где всё необязательно подлежит возможной перемене, а точность, найденная раз и навсегда. Дело читателей — любить Винокурова, но дело грядущего и тонкого исследователя заметить и доказать, как его труд сказался на труде других, во все не похожих на него, поэтов. Во всяком случае, я эту благотворную зависимость всегда ощущаю как свою выгоду и пользу.

«Как хорошо лицо свое иметь...» — так он написал, и что же, он завидно преуспел в этом — даже не намерении, а исполнении человеческого долга: быть таким, как все люди на твоей земле, не уклониться от общей судьбы, работать, страдать, воевать — точно, как все, не выгадав отдельности и побряжки, но всегда иметь «лицо свое», не похожее ни на одно другое, оснащенное прекрасным выражением сосредоточенного ума, доброты и таланта.

Еще: я пишу всё это и знаю, что Евгений Михайлович Винокуров зайдет ко мне сегодня и поздравит меня с днём рождения. А я ему скажу: месяц без одного дня пройдет и будет День Победы. Я помню, как это было тридцать лет назад. Какое ликование было. Какая печаль, какой изъян на белом свете без тех, которые не вернулись. «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой». Но — День Победы. Ты — жив. Ты — вернулся. Я тобой горжусь. Я тебя благодарю. Я тебя поздравляю.

1975

## СЧАСТЛИВЫЙ ДАР

Некогда Евгений Михайлович Винокуров поздравил меня с моим условным совершеннолетием — с моими бедными восемнадцатью годами, со способностями, которые он благосклонно предполагал во мне и опекал, с грядущей судьбой, к осуществлению которой он приложил лёгкую и добрую руку.

Я не скрываю моей непреклонной добропамятности и с любовью, объединившей почтительность к наставнику и нежность к това-

ришу, поздравляю его с подлинным совершенством лет: с его славными пятьюдесятью годами, с его счастливым даром и с трудом, который ему предстоит. Нынешний день его рождения совершенен не потому лишь, что отсчитан торжественно округлым числом, но и потому, что величина даты, без потерь и изъянов, соразмерна величине личности, которая убедительно сбылась и без утайки предъявлена всевидящему суду читателей.

Я уважаю редкую и завидную удачу Винокурова: безукоризненное совпадение предмета, который он имеет в виду, и слова, которое он говорит, — точно впадет, без расточительных затрат многословия. Дисциплина его языка такова, что между сутью вымысла и облекающей ее формой нет неопрятного зазора пустоты.

Художник всегда подлечит мощной диктовке пространства, звездопаду сторонней музыки, от которого некуда спрятать голову. В этом поединке исполнитель не всегда поспевает за указкой великого дирижера. Муза же Винокурова явно ладит с повелевающим смыслом, воплощая его в безошибочный звук. Мне кажется, что он чужд разлада с желаемым и еще до склона лет, до тютчевских седин, решил задачу, заданную его таланту, приводя ее к единственно правильному ответу в пределах каждого стихотворения.

Винокуров, разумеется, вырос и менялся по мере жизни, но его младость и зрелость, мальчик в шинели и маститый поэт трогательно и чудесно схожи меж собою и не пребывают в разлуке. Он сразу преуспел в доказательстве задиристо приметного своеобразия, на том стоит и тем лёгок для памяти. Его именем называем мы не только человека, известного уму и родимого сердцу, но и целую отвлеченную громоздкость — самостоятельную грамматику, особый штиль речи: рассуждать о возвышенном на уровне земли с ее травой, суглинком и житьем-бытьем сограждан. Этот способ стихосложения дерзит сладкой для слуха витиеватости пиитов и самоотверженно не ищет выгоды быстрого успеха. Водится за Винокуровым и еще одна доблесть: его замкнутая сосредоточенность на прямой цели поэтического труда, решительная несклонность к эстраде, прочно повенчавшей в наше время поэзию и ее почитателей. Стихи Винокурова в меньшей мере собственность слушателей, чем пристальных и вдумчивых читателей, и эта старинная принадлежность кажется мне достойной и чистой.

Я всегда помню и упоминаю, что Винокуров приходился мне учителем, с тем большей благодарностью, что, пестуя мое ученичество, он вовсе не ждал и не просил моего уподобления ему, поощряя лишь несходство и независимость, подобающие человеку.

Я радуюсь всем его удачам и накликаю их во множестве на его голову вместе с вдохновением и здоровьем. Я приношу Евгению Винокурову мои почтительные поздравления — сама по себе и от имени всех его учеников, которых у него столько же, сколько читателей.

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

1954—1979

Новая тетрадь . . . . .	7
«Дождь в лицо и ключицы...» . . . . .	7
Цветы . . . . .	8
Невеста . . . . .	8
«Мне скакать, мне в степи озираться...» . . . . .	9
Павлу Антокольскому . . . . .	10
«Он приготовил пистолет...» . . . . .	12
Грузинских женщин имена . . . . .	13
«Смеясь, ликуя и бунтуя...» . . . . .	13
«Вот звук дождя как будто звук домбры...» . . . . .	14
«О, еще с тобой случится...» . . . . .	15
«Не уделяй мне много времени...» . . . . .	16
Жалейка . . . . .	16
Снегурочка . . . . .	17
Мазурка Шопена . . . . .	18
Лунатики . . . . .	18
«Живут на улице Песчаной...» . . . . .	19
Август . . . . .	20
«По улице моей который год...» . . . . .	20
«В тот месяц май, в тот месяц мой...» . . . . .	21
Нежность . . . . .	22
Несмеяна . . . . .	23
Мотороллер . . . . .	24
Автомат с газированной водой . . . . .	25
Твой дом . . . . .	26
«Опять в природе перемена...» . . . . .	27
«Нас одурачил нынешний сентябрь...» . . . . .	28

«Ты говоришь — не надо плакать...» . . . . .	28
«Влечет меня старинный слог...» . . . . .	29
Светофоры . . . . .	30
Чужое ремесло . . . . .	31
Пятнадцать мальчиков . . . . .	32
«Я думала, что ты мой враг...» . . . . .	33
«Жилось мне весело и быстро...» . . . . .	33
«Чем отличаюсь я от женщины с цветком...» . . . . .	34
Сны о Грузии . . . . .	34
Спать . . . . .	35
Свеча . . . . .	36
Апрель . . . . .	36
«Мы расстаемся — и одновременно...» . . . . .	37
Магнитофон . . . . .	37
В метро на остановке «Сокол» . . . . .	39
Прощание . . . . .	40
«Кто знает — вечность или миг...» . . . . .	40
Пейзаж . . . . .	41
Декабрь . . . . .	41
Зимний день . . . . .	42
Королева . . . . .	43
Лодка . . . . .	43
«— Всё это надо пережить...» . . . . .	44
Вулканы . . . . .	44
«Жила в позоре окаянном...» . . . . .	45
«О, мой застенчивый герой...» . . . . .	46
«Смотрю на женщин, как смотрели встарь...» . . . . .	47
«Так и живем — напрасно маясь...» . . . . .	47
«Из глубины моих невзгод...» . . . . .	48
Женщины . . . . .	49
Зима . . . . .	50
Болезнь . . . . .	51
Воскресный день . . . . .	52
«Глубоким голосом пророка...» . . . . .	54
«О, слово точное — подонки!..» . . . . .	55
Садовник . . . . .	56
Старинный портрет . . . . .	57
«Человек в чисто поле выходит...» . . . . .	58

---

Вступление в простуду . . . . .	59
Маленькие самолеты . . . . .	60
Осень . . . . .	61
Памяти Бориса Пастернака . . . . .	62
«Когда б спросили... — некому спросить...» . . . . .	65
Симону Чиковани . . . . .	66
Сон . . . . .	67
Уроки музыки . . . . .	69
«Случилось так, что двадцати семи...» . . . . .	70
В опустевшем доме отдыха . . . . .	71
Тоска по Лермонтову . . . . .	72
Мои товарищи . . . . .	74
Зимняя замкнутость . . . . .	76
Ночь . . . . .	78
«Последний день живу я в странном доме...» . . . . .	79
Слово . . . . .	79
Немота . . . . .	80
Другое . . . . .	81
Сумерки . . . . .	81
«Четверть века, Марина, тому...» . . . . .	83
Плохая весна . . . . .	83
«Весной, весной, в ее начале...» . . . . .	86
Биографическая справка . . . . .	87
Клянусь . . . . .	88
Описание обеда . . . . .	90
«Я думаю: как я была глупа...» . . . . .	92
«Так дурно жить, как я вчера жила...» . . . . .	93
Варфоломеевская ночь . . . . .	95
«В том времени, где и злодей...» . . . . .	96
Гостить у художника . . . . .	97
Дождь и сад . . . . .	100
«Зима на юге. Далеко зашло...» . . . . .	101
Молитва . . . . .	102
Снегопад . . . . .	103
Метель . . . . .	104
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...» . . . . .	105
Описание ночи . . . . .	105
Описание боли в солнечном сплетении . . . . .	106

Не писать о грозе . . . . .	108
Строка . . . . .	108
Семья и быт . . . . .	109
Заклинание . . . . .	110
Это я... . . . . .	111
Рисунок . . . . .	113
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...» . . . . .	114
Воспоминание о Ялте . . . . .	114
Пререкание с Крымом . . . . .	115
«Предутренний час драгоценный...» . . . . .	116
Подражание . . . . .	117
«Однажды, покачнувшись на краю...» . . . . .	118
«Собрались, завели разговор...» . . . . .	118
«В той тоске, на какую способен...» . . . . .	119
Песенка для Булата . . . . .	121
Медлительность . . . . .	121
«Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...» . . . . .	122
Лермонтов и дитя . . . . .	123
«Что за мгновенье! Родное дитя...» . . . . .	124
Взойти на сцену . . . . .	124
«Так, значит, как вы делаете, други?...» . . . . .	125
«Ни слова о любви! Но я о ней ни слова...» . . . . .	126
Дом и лес . . . . .	126
«Сад еще не облетал...» . . . . .	127
«Бьют часы, возвестившие осень...» . . . . .	128
«Опять сентябрь, как тьму времён назад...» . . . . .	129
Ночь перед выступлением . . . . .	129
Снимок . . . . .	130
«Я вас люблю, красавицы столетий...» . . . . .	131
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине . . . . .	133
«Теперь о тех, чьи детские портреты...» . . . . .	134
Ожидание ёлки . . . . .	135
«Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...» . . . . .	136
«Как никогда, беспечна и добра...» . . . . .	137
Дом . . . . .	137
«Потом я вспомню, что была жива...» . . . . .	141
«Завидна мне извечная привычка...» . . . . .	141
Чужая машинка . . . . .	142

Два гепарда . . . . .	142
«Я завидую ей — молодой...» . . . . .	143
«Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...» . . . . .	144
Воспоминание (« <i>Мне говорят: который год...</i> ») . . . . .	145
«Какое блаженство, что блещут снегá...» . . . . .	146
Февраль без снега . . . . .	146
«За что мне всё это? Февральской теплыни подарки...» . . . . .	148
Памяти Лены Д. . . . .	149
«Стихотворения чудный театр...» . . . . .	150
Запоздалый ответ Пабло Неруде . . . . .	151
Анне Каландадзе . . . . .	152
«Я столько раз была мертва...» . . . . .	153
«Помню — как вижу, зрочки затемню...» . . . . .	154
«Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...» . . . . .	155
Москва ночью при снегопаде . . . . .	155
«Я школу Гнесиных люблю...» . . . . .	156
Луна в Тарусе . . . . .	158
«Деревни Бёхово крестьянин...» . . . . .	158
Путник . . . . .	159
Приметы мастерской . . . . .	160
«Вот не такой, как двадцать лет назад...» . . . . .	161
Таруса . . . . .	162
Путешествие (« <i>Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду...</i> ») . . . . .	165
Роза . . . . .	167
Памяти Генриха Нейгауза . . . . .	168
Переделкино после разлуки . . . . .	169
Письмо Булату из Калифорнии . . . . .	170
Шуточное послание к другу . . . . .	171
Ленинград . . . . .	172
«Не добела раскалена...» . . . . .	172
Возвращение из Ленинграда . . . . .	173
«Петра там нет. Не эту же великость...» . . . . .	173
Тифлис . . . . .	174
«То снился он тебе, а ныне ты — ему...» . . . . .	175
Гагра: кафе «Рица» . . . . .	175
«Пришелец, этих мест название: курорт...» . . . . .	176
«Как холодно в Эшери и как строго...» . . . . .	177
Бабочка . . . . .	178

«Смеркается в пятом часу, а к пяти...» . . . . .	178
«Мы начали вместе: рабочие, я и зима...» . . . . .	180

### 1980—1996

Сад . . . . .	182
Владимиру Высоцкому	
I. «Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...» . . . . .	183
II. Москва: дом на Беговой улице . . . . .	184
III. «Эта смерть не моя есть ущерб и зачёт...» . . . . .	185
Ладыжино . . . . .	186
Вослед 27-му дню февраля . . . . .	187
Игры и шалости . . . . .	189
Радость в Тарусе . . . . .	190
Ревность пространства. 9 марта . . . . .	192
Милость пространства. 10 марта . . . . .	193
Строгость пространства. 11 марта . . . . .	195
Кофейный чертик . . . . .	196
День: 12 марта 1981 года . . . . .	197
Рассвет . . . . .	199
Непослушание вещей . . . . .	199
Свет и туман . . . . .	200
Луна до утра . . . . .	201
Утро после луны . . . . .	203
Вослед 27-му дню марта . . . . .	205
Возвращение в Тарусу . . . . .	206
Препирательства и примирения . . . . .	207
Черемуха . . . . .	209
Черемуха трехдневная . . . . .	211
«Есть тайна у меня от чудного цветенья...» . . . . .	213
Черемуха предпоследняя . . . . .	214
Ночь упаданья яблок . . . . .	216
Февральское полнолуние . . . . .	217
Гусиный паркер . . . . .	219
Род занятий . . . . .	221
Прогулка . . . . .	224
Лебедин мой . . . . .	226
Палец на губах . . . . .	228
Сиреневое блюдце . . . . .	230
День-Рафаэль . . . . .	231



Сад-всадник . . . . .	232
Смерть совы . . . . .	233
Гребенников здесь жил... . . . . .	235
Печали и шуточки: комната . . . . .	238
«Воздух августа: плавность услад и услуг...» . . . . .	241
Забытый мяч . . . . .	241
«Я лишь объём, где обитает что-то...» . . . . .	242
Звук указующий . . . . .	243
Ночь на тридцатое марта . . . . .	244
«Зачем он ходит? Я люблю одна...» . . . . .	244
«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...» . . . . .	247
Луне от ревнивца . . . . .	247
Пашка . . . . .	249
Пачёвский мой . . . . .	250
«Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен...» . . . . .	251
Ночь на 30-е апреля . . . . .	252
Суббота в Тарусе . . . . .	253
Друг столб . . . . .	255
«Как много у маленькой музыки этой...» . . . . .	256
Смерть Французова . . . . .	257
Цветений очерёдность . . . . .	257
Скончание черемухи — 1 . . . . .	259
«Быть по сему: оставьте мне...» . . . . .	259
Скончание черемухи — 2 . . . . .	260
«Отселева за тридевять земель...» . . . . .	261
29-й день февраля . . . . .	262
«Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...» . . . . .	263
Шум тишины . . . . .	264
«Люблю ночные промедленья...» . . . . .	265
Посвящение . . . . .	267
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...» . . . . .	268
«Когда жалела я Бориса...» . . . . .	270
«Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...» . . . . .	272
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...» . . . . .	273
Ночь на 6-е июня . . . . .	273
«Какому ни предамся краю...» . . . . .	275
«Бессмертьем душу обольщая...» . . . . .	277
Стена . . . . .	279

«Чудовищный и призрачный курорт...» . . . . .	281
«Такая пала на́ душу метель...» . . . . .	283
«Взамен элегий — шуточки, сарказмы...» . . . . .	284
Постой . . . . .	286
«Всех обожаний бедствие огромно...» . . . . .	286
Дом с башней . . . . .	287
«Темнеет в полночь и светает вскоре...» . . . . .	289
«Завидев дом, в испуге безъязыком...» . . . . .	290
Побережье . . . . .	291
Поступок розы . . . . .	294
Гряда камней . . . . .	295
«Этот брег — только бред двух схватившихся зорь...» . . . . .	300
«Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет...» . . . . .	301
«Мне дан июнь холодный и пространный...» . . . . .	301
Шестой день июня . . . . .	302
Черемуха белонощная . . . . .	304
«Не то чтоб я забыла что-нибудь...» . . . . .	306
«Здесь никогда пространство не игриво...» . . . . .	306
«Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...» . . . . .	307
«Я — лишь горы моей подножье...» . . . . .	308
«Где Питкьяранта? Житель питкьярантский...» . . . . .	309
Ночное . . . . .	311
«Вся тьма — в отсутствии, в опале...» . . . . .	312
«Лапландских летних льдов недалняя граница...» . . . . .	314
«Всё шхеры, фиорды, ушельных существ...» . . . . .	315
«Так бел, что опалает веки...» . . . . .	316
«Лишь июнь сортавальские воды согрел...» . . . . .	318
«То ль потому, что ландыш пожелтел...» . . . . .	320
«Сверканье блёсен, жалобы уключин...» . . . . .	321
«Вошла в лиловом в логово и в лоно...» . . . . .	322
«Пора, прощай моя скала...» . . . . .	325
«Сирень, сирень — не кончилась бы худом...» . . . . .	327
«— Что это, что? — Спи, это жар во лбу...» . . . . .	329
Ёлка в больничном коридоре . . . . .	330
«Поздней весны польза-обнова...» . . . . .	332
Ивановские припевки . . . . .	332
«Хожу по околицам дюжей весны...» . . . . .	334
Пригород: названья улиц . . . . .	337

«Тому назад два года, но в июне...» . . . . .	339
«Постоялец вникает в реестр проявлений...» . . . . .	340
«Так запрокинут лоб, отозванный от яви...» . . . . .	342
Ларец и ключ . . . . .	342
Дворец . . . . .	344
Гроза в Малеевке . . . . .	346
Венеция моя . . . . .	348
Одевание ребенка . . . . .	349
Портрет, пейзаж и интерьер . . . . .	350
Вокзальчик . . . . .	353
Вид снизу вверх . . . . .	355
19 октября 1996 года . . . . .	355
Надпись на книге: 19 октября . . . . .	357
Поездка в город . . . . .	359

### 1997—2008

«Вот — пруд и дерево плакучее...» . . . . .	363
«Малеевка, как нежно, грустно...» . . . . .	363
Городской пейзаж . . . . .	364
Изгнание ёлки . . . . .	365
Видение розы . . . . .	367
Предпоследний разговор с Булатом . . . . .	372
«Девочка с персиками» . . . . .	372
Воспоминание («От сна очнулись соловьи...») . . . . .	373
Отсутствие черёмухи . . . . .	376
Скончание сирени . . . . .	377
Пуговица в китайской чашке . . . . .	379
Роза на окне . . . . .	381
«О Латвия моя, не тот я, кто своею...» . . . . .	382
«О Латвия моя, куда-то переносит...» . . . . .	383
«Город-тартар, наущенье татар...» . . . . .	384
Помысел о Прусте . . . . .	384
Траурная гондола . . . . .	385
Вишнёвый сад . . . . .	386
Спас полунощный . . . . .	387
Озябший гиацинт . . . . .	388
Возле ёлки	
31 декабря: к ёлке . . . . .	388

Ночь возле ёлки . . . . .	390
Он и я . . . . .	392
Ночь под Рождество . . . . .	394
Святочные колядки . . . . .	397
Окаём и луна . . . . .	400
«Привёз паломник Иерусалима...» . . . . .	402
«Я ровно в полночь зажигаю свечи...» . . . . .	403
Прегрешения вольные и невольные . . . . .	405
На мотив Икоса . . . . .	407
Черёмуха моя	
I. «В той местности, откель купец Малеев...» . . . . .	408
II. «Премьеры чад и блеск...» . . . . .	409
III. «Воздумал май вернуться в март...» . . . . .	412
IV. «Черёмухи моей ведро...» . . . . .	414
Сны о Грузии	
Авелум. Отару Чиладзе . . . . .	415
Я и ночь и Галактион . . . . .	417
Памяти Симона Чиковани . . . . .	420
Памяти Гии Маргвелашвили . . . . .	424
Памяти Гурама Асатиани . . . . .	427
Сакартвело . . . . .	432
«День августа двадцать шестой...» . . . . .	434
Умственные затруднения	
I. «Лежаний, прилежаний, послушаний...» . . . . .	437
II. «Уж утро. За потачку Геркулеса...» . . . . .	438
Блаженство бытия	
I. «Шесть дней небытия не суть нули...» . . . . .	439
II. «На свете счастье есть. Нет солнца, нет мороза...» . . . . .	446
Глубокий обморок	
I. В Боткинской больнице . . . . .	447
II. Отступление о Битове . . . . .	449
III. Послесловие к I . . . . .	449
IV. Посвящение вослед . . . . .	451
V. Сюжет . . . . .	453
VI. Мгновенье бытия . . . . .	455
VII. Отступление о Носсиде . . . . .	456
VIII—IX. Прощание с капельницей . . . . .	458
X. Больничные шутки и развлечения . . . . .	461
XI. Возвращение . . . . .	463
XII. Ночь до утра . . . . .	465

XIII. Закрытие тетради . . . . .	466
XIV. Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря . . . . .	467
XV. Жалобы пишущей ручки . . . . .	469
XVI. Предпроводы ёлки . . . . .	471
XVII. Послание . . . . .	472
Хвойная хвороба	
I. «Мы знаем: счастья — нет, но где покой, где воля?..» . . . . .	474
II. «Опускаем полгода. Сочтём юбилеем...» . . . . .	475
III. «Июля первый день живописатель цвета...» . . . . .	478
Пациент	
I. «Поутру, натравив кофеин на дремучесть...» . . . . .	480
II. «Где поле зренья просит просветленья...» . . . . .	482
III. «Спит дармоед, спят чашка и тарелка...» . . . . .	483
IV. «Я с ним простилась. Он — не стал прощаться...» . . . . .	486
V. «Сочинитель — не спячки, а скачки наездник...» . . . . .	490
VI. «Смех без причины... — знаем, знаем!..» . . . . .	491
VII. «Вы думаете: пациенту не с кем...» . . . . .	493
VIII. «В больнице есть заманчиво бесплатный...» . . . . .	494
IX. «Был майский день, шестнадцатый по счёту...» . . . . .	496
X. Путешествие . . . . .	499

### Стихотворения к фильмам

#### Стихи к фильму «Венок сонетов»

Вступление . . . . .	503
1. Чёрная плёнка . . . . .	503
2. Полустанок . . . . .	503
3. Памятник Пушкину. <i>Сонет первый</i> . . . . .	503
4. Парк культуры. <i>Сонет второй</i> . . . . .	504
5. Урок ботаники. <i>Сонет третий</i> . . . . .	504
6. «Три сестры». <i>Сонет четвёртый</i> . . . . .	505
7. Велосипеды на берегу моря. <i>Сонет пятый</i> . . . . .	505
8. Смерть Артёма. <i>Сонет шестой</i> . . . . .	506

#### Стихи к фильму «Луг зеленый»

Вступление . . . . .	506
Город . . . . .	506
Мастерская . . . . .	507
Зелёный луг . . . . .	508
Девушка . . . . .	509
Город . . . . .	510
Море . . . . .	511
Скульптура . . . . .	512

Зелёный луг . . . . .	512
Художник . . . . .	513
Монолог художника . . . . .	513
Девушка . . . . .	514
Город . . . . .	514
Стихи к фильму «Спорт, спорт, спорт...»	
«Вот человек, который начал бег...» . . . . .	515
«Ты — человек, ты — баловень природы...» . . . . .	515

### Стихотворения детям

Песенки для Ани и для других мальчиков и девочек . . . . .	516
Описание удода . . . . .	516
Поросёнок . . . . .	517
Дождик . . . . .	518

### Посвящения и дарственные надписи

О том, чьё имя... . . . . .	520
«Мной столько раз восславлен Битов...» . . . . .	521
Андрею Битову . . . . .	522
Ночное посвящение . . . . .	522
Надпись на книге . . . . .	523
«Причудливый бродит меж лип господин...» . . . . .	524
«Мы — в доме, что воздвигли ЗЭКи...» . . . . .	525
Экспромт в честь вечера Василия Аксёнова 11 января 1999 года . . . . .	526
«Продолжить повелел... быть по сему, Володя...» . . . . .	528
«Всё чаще голос твой...» . . . . .	528
«Я возжигала в полночь две свечи...» . . . . .	529
«Все знают, что великий Плучек...» . . . . .	529
«Мой Дэдик! Всё же имя: Дэльвиг...» . . . . .	530
Шутка для милого Дэдика в день его рождения . . . . .	530
Юрию Росту . . . . .	531
«Пишу — весь день, всю ночь, всё утро...» . . . . .	532
«Считать я стала до восьми...» . . . . .	533
Посвящение . . . . .	533
«В реанимации туманной...» . . . . .	535
Нежестокый романс . . . . .	535
«Люблю, люблю! — при снегопаде...» . . . . .	536
«Ход вам навстречу так плавлен...» . . . . .	536

Экспромт Кобе Гурули . . . . .	537
Посвящение Лулу . . . . .	537
«Любовь моя, Ваш день рождения...» . . . . .	538
Александр Моисеевичу Эскину . . . . .	538
Благодарю тебя... . . . . .	539
Посвящения Нани	
1. «Так я жила-была: не зная...» . . . . .	540
2. «Не довольно ли нам пререкайся...» . . . . .	541
3. «Из высшего мрака, из вечности грозной...» . . . . .	542
4. «Дали жизни, прекрасно короткой...» . . . . .	542
Козлёнок . . . . .	543
«Крепнет и множится вихрь, обрывающий...» . . . . .	544
«Не состязались. Но реванш...» . . . . .	544
Рига . . . . .	545
«Лакомка-неженка-Юрмала...» . . . . .	546
«Любезный друг, мой милый Бух!..» . . . . .	547
Асафу Михайловичу Мессереру . . . . .	547
«Мне ль помышлять о примиренье...» . . . . .	548
«Восславим дам, как Пушкин нам велел...» . . . . .	549
«Средь роз в халате и в палате...» . . . . .	549
Дарственная надпись на книге «Гряда камней» . . . . .	550
Экспромт к открытию выставки, посвященной «Евгению Онегину» в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина . . . . .	550
«Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада...» . . . . .	551
«Ночью подъехала к дому...» . . . . .	552
Надпись на книге воспоминаний Сальвадора Дали для Людмилы Черновой . . . . .	552
«Чемо Дэзик, чемо швило...» . . . . .	553
«В саду дрозды перекликались...» . . . . .	553
«Знаю: праздник будет завтра...» . . . . .	554
Дарственная надпись на книге «Самые мои стихи» . . . . .	554
«Глаза затравленной газели...» . . . . .	555
Надпись на книге, подаренной вместе с подковой Ольге и Пьеру Морель . . . . .	555
Дарственная надпись на книге «Однажды в декабре» . . . . .	556
«Что — слова? Что — докучность премий?..» . . . . .	557
В ночь на 21 декабря 1980 года . . . . .	557
«Войнович в том, что он — Войнович...» . . . . .	558

Ещё одно посвящение Владимиру Войновичу . . . . .	558
Посвящение Ванечке Аксёнову . . . . .	559
Шуточное послание к Галочке Емельяновой (и отчасти к ее брату Андрюше) . . . . .	559
Носсиде . . . . .	560
Роману Солнцеву . . . . .	561
Фазилию Искандеру . . . . .	561
Посвящения и дарственные надписи Борису Мессереру	
1. Подарок Боре в минуту гнева . . . . .	562
2. Дарственная надпись на книге Анны Ахматовой «Poesie», Guanda . . . . .	562
3. Дарственная надпись на книге «Fever» . . . . .	563
4. Подарок Боре . . . . .	564
5. Борису Мессереру . . . . .	565
6. «Моих слепых движений поводырь...» . . . . .	565
7. Боре . . . . .	566
Праздное упражнениe . . . . .	566
Посвящение дамам и господам, запечатлённым фотографом летом 1913 года в Н-ской губернии великой Российской империи . . . . .	567

### ПОЭМЫ

Озноб . . . . .	573
Сказка о Дожде . . . . .	577
Моя родословная . . . . .	586
Приключение в антикварном магазине . . . . .	605
Дачный роман . . . . .	611
Стихи к симфониям Гектора Берлиоза	
Ромео и Джульетта . . . . .	615
Фантастическая симфония . . . . .	620
Памяти Аттилы Йожефа . . . . .	627
Недуг . . . . .	638
Наслаждения в Куоккале . . . . .	645

### РАССКАЗЫ

На сибирских дорогах . . . . .	659
Бабушка . . . . .	682
Много собак и Собака . . . . .	692



## ВОСПОМИНАНИЯ

Живое семицветье . . . . .	717
Воспоминание о Грузии . . . . .	718
Отрывок . . . . .	719
Путешествие . . . . .	720
«Мороз и солнце, день чудесный...» . . . . .	720
«Прекратим эти речи на миг...» . . . . .	722
Анна Каландадзе . . . . .	725
О Евгении Винокурове . . . . .	726
Счастливый дар . . . . .	728
К читателю . . . . .	730
Вероника Тушнова . . . . .	730
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским... . . . .	731
Порыв души и ума . . . . .	732
Миг бытия . . . . .	733
Не забыть . . . . .	736
Вместо предисловия . . . . .	740
Памяти великого артиста . . . . .	742
Слово прощания . . . . .	743
«Ревность по дому» . . . . .	743
«Итальянцы в России» . . . . .	744
«Наедине с тобою, брат...» . . . . .	746
Лариса Шепитько . . . . .	747
Посвящение . . . . .	750
Послесловие к автобиографии Майи Плисецкой . . . . .	751
Новый год и Майя . . . . .	753
Дарующий радость . . . . .	754
Вождь своей судьбы . . . . .	756
Артист и поэт . . . . .	757
Союз радости и печали . . . . .	758
Несколько слов о Борисе Чичибабине . . . . .	760
Склоняю голову . . . . .	760
Нодар Думбалдзе . . . . .	762
Памяти Александра Григорьевича Тышлера . . . . .	763
Ваше величество женщина . . . . .	766
Париж — Петушки — Москва . . . . .	767
Памяти Венедикта Ерофеева . . . . .	768
«Амадей и Вольфганг» . . . . .	769

---

Борис Пастернак . . . . .	769
Лицо и голос . . . . .	770
День счастья . . . . .	777
Динара Асанова . . . . .	780
«Прощай, свободная стихия» . . . . .	782
Час души . . . . .	783
Посвящается Вам . . . . .	786
Устройство личности . . . . .	787
Алик Левин . . . . .	788
«Когда Вы безвыходно печальны...» . . . . .	789
Посвящение Сергею Довлатову . . . . .	790
Поздравление журналу «Грани» . . . . .	791
Всех обожаний бедствие огромно... . . . . .	792
Розы для Анели . . . . .	796
Возвращение Набокова . . . . .	799
Среди долины ровныя... . . . .	819
Алфавитный указатель . . . . .	828